

Б. В. Раушенбах

ПОСТСКРИПТУМ

Литературная запись Инны Сергеевой

Оглавление

1	8
2	24
3	34
4	50
5	73
6	90
7	104
8	117
9	126
10	137

В ФЕВРАЛЕ 1997 ГОДА Я ОТДАВАЛ БОГУ ДУШУ...

Москва, 1999
Издательство «Пашков дом»

«В воспоминаниях мы дома,
А в настоящем мы рабы...»

П. Вяземский

Лежал на Каширке пластом, без сознания, вокруг меня стояли дети — жену, Веру Михайловну, не пустили, она не должна была видеть этого зрелища, — врачи сказали: этой ночи я не переживу. И хотя дети, чередуясь, круглосуточно дежурили у моей постели, сейчас они встали рядом, чтобы, как говорится в романах, принять мой последний вздох. Дочери Оксана и Вера, зять Миша, уже мало на что надеясь, пытались при помощи своего молодого сильного биополя чем-то мне помочь. Но я в сознание не приходил и отдавал, отдавал Богу душу. . .

За всю мою жизнь у меня было немало возможностей отправиться на тот свет — и в лагере, где люди умирали повально, каждый второй, и на поселении. Но я уцелел. Всякие истории приключались со мной, вроде одиннадцати хирургических операций, через которые я благополучно проскочил, до вот этих последних, двенадцатой и тринадцатой. Начиналось все вполне мажорно. Очевидцы говорят, что накануне операции встретили меня в Президиуме Академии наук на Ленинском проспекте веселого, бодрого, только что походившего в свое удовольствие на лыжах на даче в Абрамцеве, и сокрушались, что вот я, здоровый, спортивный, своими ногами иду ложиться под нож. Успокаивая их, я сказал: «Ну, чего там страшного? Положат на стол, я захраплю, меня разрежут, выкинут все ненужное в помойное ведро, зашьют — и жизнь пойдет своим чередом...»

Примерно так все и получилось. Если не считать, что врачи нечаянно сделали операцию «грязно», поранили кишечник, начался перитонит, и пришлось меня снова оперировать. Меня никто не убивал, врачи сделали это не нарочно, и случайно — случайно! — меня не убили. Но я был очень близок к этому. Опять уцелел. Выжил после того, как меня буквально «развернули» на операционном столе, вскрыли от шеи донизу и смотрели — что можно

выкинуть? Выпотрошили по принципу: это больное — вырежем его, это здоровое — а вдруг! — тоже вырежем, на всякий случай. Аппендикс, например, вырезали, хотя их об этом никто не просил. И в результате я уполовинился. Впрочем, все оставшееся работает как будто бы нормально.

Подверг я такому испытанию себя и близких совершенно неожиданно — думал, что все сойдет благополучно. Не сошло. И это тоже надо как-то осмыслить, сколько бы мне ни осталось жить — пятнадцать, двадцать пять, тридцать лет. После такой передряги идет невольный пересмотр всего — и себя, и своего отношения к людям и к жизни. Времени хоть отбавляй: после моей очень активной деятельности, и умственной, и физической, после многолетней непрерывной и напряженной работы мне пришлось залечь на долгое время, а потом сидеть сиднем, а это ведь тоже влияет на состояние человека. Я обленился, оценил роскошество лени, хотя ценил его и в молодые годы, понял, как приятно отдалиться ничегонеделанию, вести растительный образ жизни! А что, я симпатичное растение, у меня после многомесячного лежания и сидения, по-моему, на лысине цветочки стали пробиваться. То есть произошло некое перерождение. Как говорит моя жена, во мне течет «бомжиная кровь», слишком много ее переливали во время операций и после них.

Я бестрепетно относился и отношусь к хирургическому вмешательству в мой организм, и врачи меня за это любят: редко встречаются такие пациенты, которые абсолютно равнодушны к собственной операции, как будто кого-то другого будут резать, а не их. Но в последний раз врачи были твердо уверены, что я помру, и очень удивлялись, что я этого не делаю. Полагая, что моя смерть неизбежна («Помилуйте, чего же вы хотите, такой возраст!..»), они, по-моему, были сильно «разочарованы», что я воскрес. Но, конечно, с потерями после двух зверских наркозов, каждый почти по четыре часа, память стала хуже, я долго не мог утвердиться на ногах, жил, как кентавр какой-то: от пояса выше все нормально, а ниже — все ненормально. До сих пор всякое движение для меня, не важно какое, связано с болью: болят икры, болят подошвы ног, колени, стопы. После лечения в Германии, в Ганноверской клинике, стало легче, но за рулем мне уже не сидеть, а ведь я много лет водил машину, и хорошо водил, не сказал бы, что лихо, скорее осторожно, но «сносил» две «Волги». И дело не в том, что ноги стали хуже, у меня не хватает быстроты реакции, сильно снизилась эта способность. Если, скажем, раньше я что-то видел, сидя за рулем, и реагировал через одну десятую секунды, то сейчас — через две десятых. Мешаю другим водителям. Кроме того, я слишком напряжен в городе. Другое дело за городом, где нет этой московской толчеи — я еду спокойно, потому что там доли секунды особой роли не играют. Так что вне Москвы, надеюсь, еще повою машину, а в Москве я себе это уже запретил. Зато, как видите, засел за книгу, чтобы вспомнить всю свою жизнь, написать о ней, как и полагается на склоне лет каждому грамотному человеку.

Некоторые читатели могут подумать, что ее название, «Постскриптум», говорит о моем прощании с жизнью: все в прошлом, завершаю свой путь... Ничего подобного! Во-первых, я, как никогда, полон всяческих планов; предстоит новая поездка в Германию, на этот раз с внуком Бобкой; обдумываю тему новой книги, за которую примусь, как только закончу эту; окончательно окрепнув, собираюсь вернуться к чтению лекций — не обязательно в родном Физико-техническом и не обязательно по основной моей

профессии. Во-вторых, знатоки и любители эпистолярного жанра в постскриптуме, как правило, сообщают самое главное, истинную цель того, что до сих пор писали. Поэтому в своем «Постскриптуме» я пишу о себе и своей жизни то, чего до сих пор не касался или касался мимоходом.

Александр Сергеевич Пушкин говорил: «И с отвращением читая жизнь мою, я трепещу и проклиная. . .» Не трепещу и не проклиная, но свидетельствую, что моя жизнь весьма не простая картина, в ней сложно все до ужаса. Однако оглянуться все равно интересно! Есть вещи, которые сейчас мне кажутся нереальными. Как будто это было не со мной. А ведь все было ее мной. . .

Итак, я умирал и понимал, что умираю. Это было не страшно, даже чем-то приятно. Я совершенно не боялся смерти, хотя, если посмотреть со стороны, лежал, как говорится, в полной отключке. Вся работа, на самом деле, происходила во мне, там. Вначале сутки, двое, час или полчаса, не знаю сколько, я был в прострации, в полной черноте. Потом началось долгое и мучительное, страшно неприятное ощущение кавардака: какие-то люди ходят и ходят, чуть ли не задевая меня и очень раздражая. Да что же это творится, думаю, чего они ходят, мне это противно, так противно! И вдруг люди зашагали как бы в шеренгах, появился некий порядок, потом они вообще исчезли, и я обнаружил, что пошел сам. Шагнул и в то же мгновение увидел, что если пойду этой дорогой, то умру, и я стал выбирать, что делать. Ясно понимал, какой передо мной выбор, твердо знал это и не боялся. Видел перед собой коридор, который тянулся куда-то вдаль, там, в конце, брезжил свет, и я заколебался: может быть, мне пойти туда? Потому что справа было нечто непривлекательное, неопрятное, как я понимал, но в той стороне была жизнь. А коридор выглядел чистым, светлым, приятным, в глубине его сияло то ли голубое небо, то ли что-то в этом духе. И все-таки я повернул направо, в кавардак, где была жизнь.

Я пережил нечто похожее на то, что пережили герои Раймонда Моуди, американского писателя, автора книги «Жизнь после смерти». Не буквально, но очень многое у меня совпало с их ощущениями, хотя читал я эту книгу гораздо позже тех событий, о которых рассказываю сейчас. То, что со мной происходило, происходило до чтения и не было мне внушено доктором Моуди, однако происходило именно по его схеме, то есть я «вписался» туда, в этот ряд. Выбрал. И почувствовал себя живущим.

Позже я снова провалился. Но уже по-другому, это была болезнь. Нормальная болезнь, где я не выбирал между жизнью и смертью. А в тот момент я выбрал Жизнь.

Все это происходило, видимо, уже после операции на почке. Я очень хорошо помню и тот мучительный беспорядок, и ту тягостную мусть, и ту беспорядочно снующую толпу людей. Но когда появилась возможность выбора между Жизнью и Смертью, я решился. . . Забавные переживания.

Возвращаться к жизни было не противно. Я бы сказал, что и уход туда, в светлый коридор, казался не то чтобы приятным, но ничего сверхъестественного в нем не было, он был нормален, не вызывал чувства отвращения. У меня лично не вызывал. У других это бывает, и они об этом пишут, в частности, в книге Моуди.

Слава Богу, что я ничего не знал об этом до операции. И у меня осталось такое ощущение, что я походил по тому свету и вернулся на этот. Чтобы доиграть свою игру.

Когда я впервые рассказывал о своей «смерти» жене и детям, то поймал себя на том, что улыбаюсь, вот что интересно. Я пережил никогда не испытанное мною раньше ощущение, выбирая между жизнью и смертью. И выбрал грязный, неопрятный закуток за поворотом, жизнь. За мной в тот момент снаружи (выбирал-то я все это внутри!) наблюдали дети, врачи считали, что я эту ночь не переживу — без сознания, на кислороде, под капельницей. . . Я пережил. Я выжил! Это само по себе уже чудо. Но больше мне ничего подобного не пригрезилось. То есть не было дано второго шанса, я как бы уже выбрал окончательно. Повторяю, трудно сказать, сколько времени продолжался мой выбор, может быть, минуту, может быть, несколько часов. Знаю только, что мучительно хотелось что-то понять, о чем-то спросить, но сам вопрос ускользал от меня — какое смутное, беспокойное чувство!

Сначала я, после того как пришел в себя, не придавал всему этому никакого значения, решил, что бредил, хотя бред этот больше не повторялся. А когда гораздо позже, летом, уже дома, мне дали прочитать книгу Моуди, я многое понял задним числом. Автор собрал удивительные данные о предсмертном сознании людей, и я не сомневаюсь, что именно так все с ними и было. Особенно уверен сейчас, когда сфотографировали душу, уходящую из тела.

Я видел этот снимок, повторенный в газете «Знание мира», которую издает Фонд Рериха. Женщина лет тридцати пяти скончалась под ножом хирурга, и случайно находившийся в операционной фотограф, снимая процесс операции, запечатлел на пленке уход ее души, в женском, кстати, облিকে. Может быть, это кому-то покажется шарлатанством, но ведь и у нас проводятся исследования в этом направлении, просто они не афишируются, и уже удалось обнаружить, что в момент смерти человек скачком теряет вес.

Специалисты утверждают, что снимок, сделанный в Германии, не подделка, фотография подлинная, это уже доказано. Ну а дальше что хотите, то и думайте. Фотографическая пленка ведь не поддается внушению, и если о людях можно сказать: они себе это внушили, вообразили, им показалось, привиделось, о фотопленке так не скажешь, она дура, она не понимает, внушают ей или нет, просто зафиксировала факт: вот, пожалуйста, душа удаляется от тела, душа, которую, кстати, никто из присутствующих в операционном зале не заметил. Много людей было вокруг, а никто ничего не увидел. Дело в том, что фотопленка может зафиксировать то, чего не видит глаз, и наоборот. Если взять длины волн, которые воспринимаются глазом и пленкой, то они не совпадают, сильно смещены относительно друг друга. Много, что видит глаз, недоступно фотопленке, многое, что может «схватить» пленка, не «схватывает» глаз: рентген, например. Или: при фотографировании красный цвет на обычной пленке не проявляется, мы его видим, а пленка — нет. Это опять таки известный факт, много раз сравнивалась чувствительность глаза и пленки, имеются и кривые этих сравнений. И знаменательно, что немцы случайно обнаружили на фотоснимке душу — это как с обратной стороной Луны: все знали, что она есть, по никто не видел, пока ее не удалось сфотографировать.

Итак, я ничего не помнил, когда пришел в себя: кто был рядом, кто приходил, кто уходил. Двойной, очень сильный наркоз сбил меня с толку. Наверное, кто-то был возле меня, но я даже не понял, что нахожусь в боль-

нице. И заговорил не сразу — у меня в глотке торчала какая-то трубка, и весь я был в разных трубках и проводах, полуживой и мало что соображающий. Из всех трубок хорошо запомнил одну: я лежу, начал уже что-то произносить, рядом стоит врач и, деловито приговаривая «да, да, да», вырывает у меня из груди какую-то длинную палку. «А как же дырка-то?» — спрашиваю я. «А она зарастет», — отвечает он. И оказался прав. Сам я после операции дышать не мог, и мне в легкие вставили специальные трубки для дыхания. Когда я задышал самостоятельно, их стали выдирать из меня, как колья из земли. И в какой-то момент я вдруг почувствовал себя нормальным человеком, без трубок, без аппаратов, без всей этой медицинской амуниции.

Попад в подобное положение, многие говорят: лучше бы умереть! Не верьте им. Это они болтают, уже оставшись в живых. Я этому никогда не верю и теперь не поверю: всегда лучше жить.

С точки зрения суперсовременной медицины, которая где-то, наверное, существует на высочайшем уровне, всего того, что проделали со мной, может быть, и не надо было делать. Но ведь я никому не дал подумать со своей стремительностью, никто опомниться не успел. У меня это навязчивая идея — если надо что-то вырезать, то вырезать немедленно, и я ни с кем не советуюсь и ничего не обсуждаю. А ведь многие операции делать не рекомендуется: например, вырезать аппендикс, хотя это даже операцией не считают, в Германии или в Америке удаляют детям в целях профилактики. А вот суперсовременная или супертрадиционная медицина — не знаю, как лучше назвать, — утверждает: этого делать нельзя. Все, что есть в организме человека, ему нужно. И все на все влияет.

После того как меня искромсали, мне все-таки не кажется, что я психологически изменился. Например, если и изменилось отношение к жизни, то я не чувствую. Вряд ли мое впечатление ошибочно. Я не могу, скажем, ходить так же стремительно, как раньше, но в моем мировоззрении никаких существенных изменений не произошло, если не считать, что теперь я верю в существование души, ибо есть целый ряд факторов, которые говорят о том, что душа материальна. И если человек в момент смерти, как я уже говорил, скачком теряет вес, то какой-то кусочек материи от нас улетает. И оказалось, ее можно увидеть, уже обнаружен выход материи, ее свечение зафиксировала камера фотоаппарата. Но ведь камера-то способна зафиксировать лишь что-то материальное! Нобелевскую премию можно дать за такую, я бы так сказал, визуализацию души! Считаю, что без высшего начала (а существование души не может не быть свидетельством высшего начала) жизнь настолько омерзительна, что лучше не жить. Если нет ничего высокого, идеального в нашем существовании, то это не для меня.

После операции на Каширке меня лечили в ЦКБ. Что значит — лечили? Перевезли из одной реанимации в другую. Надо отметить, что, в отличие от Каширки, реанимационное отделение ЦКБ организовано потрясающе: на консилиум были созваны медицинские светила, выводили меня из тяжелейшего состояния — и вывели. Я вернулся домой.

К сожалению, никто мне не предложил ни специального санатория, ни восстановительных процедур, они, конечно же, помогли бы мне быстрее обрести рабочую форму. Все, что у меня было, это семья, которая меня спасла, мои ученики Валерий Михайлович Заико и Виктор Павлович Легостаев, которые беспрерывно меня опекали и даже помогали материально,

доставая каких-то спонсоров, деньги, чтобы платить миллионы (тогда еще миллионы) за лекарства — в больницах их зачастую не было. Вот мои-то ученики и предложили: «Знаете, Борис Викторович, наверное, вам нужно еще где-то подлечиться, хотя бы в Центре космической реабилитации», — и устроили мне путевку в центр, в Зеленоград. Академии наук было ровным счетом плевать, когда я умирал на Каширке, оттуда позвонили один раз — из вежливости, но ничего не предложили, никакой помощи. И перевод в ЦКБ осуществили в самый драматический момент Заико, Легостаев и Батурин, который тогда состоял при президенте. При этом они полагали, что моя жена автоматически включается в список, но не тут-то было. Когда мы отправлялись в поликлинику на Сивцев Вражек, на пропускном пункте ее все время спрашивали: «А вы зачем идете?», и Вера Михайловна отвечала этим мальчикам: «Хорошо, я не пойду, я постою здесь вместо вас, а вы поведете моего мужа, который сам еще ходить без моей помощи не может. . . »

Спасали меня друзья, советские немцы (называю их по-старому), вот они-то приложили все силы, чтобы в прямом смысле слова поставить меня на ноги. Благодаря их хлопотам в прошлом году я попал через международный Красный Крест в Германию, в Ганноверский госпиталь, но об этом речь пойдет позже.

Так что мне посчастливилось родиться на свет дважды. О втором рождении я рассказал, а теперь стану рассказывать первом.

Глава 1

С тех пор, как я родился, прошло восемьдесят четыре года, просто тянет иной раз оглянуться, хочется вспомнить старину. Мне вообще интересно вспоминать. На определенном этапе жизни, уже в солидном возрасте, появляется ощущение, что детство как бы приближается. В расцвете жизни этого ощущения нет. А тут оно как бы притягивается к тебе, и зарождается желание все перебрать подробно и любовно.

Довольно точно могу сказать, с какого времени помню себя: февраль семнадцатого года, Петроград. Февральская революция. Мне два года. Нашу квартиру обстреливают, и мать в панике укрывает меня от пуль, носит из одной комнаты в другую, пряча за капитальными стенами. Бежит вместе с домработницей, держа меня на руках, и взволнованно с ней переговаривается, попадут в нас или не попадут.

Помню полное свое спокойствие — тащат меня, значит, надо, стреляют, значит, надо. Я не стрельбу воспринимал, а материнскую взволнованность, без всякого испуга, с любопытством наблюдая страх мамы и домработницы. Вот у меня и отложилась точная дата — февраль семнадцатого года, но отложилась, наверное, потому, что это было настоящим потрясением для матери, передалось мне и воспринялось именно как потрясение, хотя прекрасно помню, что сам я отнесся ко всему этому безразлично: в два года на руках у матери чувствуешь абсолютную защищенность.

Жили мы тогда у Московских ворот, в казенной квартире, в жилом корпусе обувной фабрики «Скороход», известной на всю Россию, да и не только Россию. Я родился в доме, который упирался окнами прямо в Московские ворота. Когда вспыхнули события Февральской революции, именно у Московских ворот собирались демонстранты, как тогда говорили, происходили волнения, поэтому жителям приказали не стоять у окон, не высовываться, а наша домработница решила полюбопытствовать, высунулась, нас и стали обстреливать.

Зрительно помню мать и отца, но мне казалось, что они со временем совершенно не менялись, всегда были одинаковыми. Ну, это естественно, мы с Верой Михайловной, моей женой, живем более пятидесяти лет, и мне кажется, что она все такая же, как раньше. Но на самом-то деле она изменилась! Поэтому не помню особенностей внешности матери в те годы — просто мама и все тут. Знаю по рассказам взрослых, что она поздно вышла замуж за отца, почему — загадка до сих пор. Отец женился тоже немолодым по тем временам, лет сорока, слишком поздно по тогдашним понятиям. Родители никогда не рассказывали историю своей женитьбы. Во-первых, мы,

дети, были слишком маленькие, во-вторых, у нас это было не принято. Я знал, что отец приехал с Волги, а мать из Прибалтики, и встретились они случайно у каких-то знакомых. Наверное, отец некоторое время ухаживал за матерью, как и полагалось, но на эти темы в семье никаких разговоров не велось.

Значительно позже, уже в зрелом возрасте, мне стали известны мои корни по мужской, отцовской линии: предок мой пересек границу Российской империи в 1766 году по приглашению Екатерины II. Тогда за каждую немецкую семью Екатерина выплачивала человеку, который организовывал переселение немцев на свободные российские земли, некоторую сумму денег. Как известно, бухгалтерские книги хранятся вечно, вот они и сохранились, и каждый немец, в то время пересекший границу, известен по имени. Карл-Фридрих Раушенбах. . . Мой пра-пра-пра-пра. . . — не знаю, сколько — дед. Более того, у нас в доме хранится копия свидетельства о его браке. Екатерина пожелала, чтобы немцы в Россию приезжали семьями, и все молодые люди, рискнувшие перебраться в неведомую им страну, должны были срочно жениться. И Карл-Фридрих женился перед посадкой на корабль, у меня есть свидетельство об этом, выписанное из церковной книги, копия, конечно. Оригинал хранится в Германии, в той церкви, в которой мои предки венчались.

Моя мать, Леонтина Фридриховна, урожденная Галлик, происходила из прибалтийских немцев, родилась в Эстонии на острове Эзель, теперь Сааремаа, закончила школу, владела, кроме русского и немецкого языков, французским и эстонским, играла на фортепьяно, то есть получила высшее образование. Как и многие ее сверстницы, перебралась потом на континент, в Россию, и устроилась бонной в состоятельную семью.

Отец, Виктор Яковлевич (деда моего по отцовской линии звали Яков, значит, на русский лад — Яков; мать тоже со временем стала не Фридриховна, а Федоровна), родом был из Саратовской губернии, с Поволжья, где, собственно, и обосновалась большая немецкая колония. Образование уехал получать в Германию, а потом снова вернулся на родину, в Россию, и более двадцати лет проработал на «Скороходе», занимая довольно высокую должность технического руководителя кожевенного завода и отвечая за обработку кожи — ее дубление, окраску и прочее. Дело в том, что фабрика «Скороход» имела свой заводик, который выделывал для нее кожу. Сейчас это не делается, все по отдельности, а тогда «Скороход», выпуская свою фирменную обувь, предпочитал иметь и собственную сырьевую базу.

У немцев, как известно, ребенку дают несколько имен, и у меня, как и у моей сестры, два имени — немецкое и русское (родители, живя в России, отдавали себе отчет, что детей нужно учить русскому языку и давать им русские имена): меня называли Борис-Ивар, а сестру — Карин-Елена. Первое имя считается главным, но пастор перепутал и написал в метрике сестры первым шведское имя, Карин, а вторым — русское. По-настоящему она должна была бы быть Леной, а мы ее всю жизнь зовем Карой.

Был у нас старший брат, который умер в младенческом возрасте, вернее, его нечаянно отравила няня. Когда у матери родился первенец, врач-акушер порекомендовал для ухода опытную, по его словам, женщину и выписал опиумные капли: если ребенок долго кричит, то ему дают чуть-чуть капелек, он успокаивается и засыпает. Брат долго не спал, сильно орал, и

дура нянька усыпила его насмерть, потому что он никак не мог успокоиться и она все добавляла и добавляла капель. Он заснул и больше не проснулся. Вот такая история, мне об этом уже по том мама рассказывала. Брат был примерно на два года старше меня. . .

Отец работал, мать занималась домом, тогда так полагалось во всех семьях. Пока отец был жив, держали домработницу, когда он умер — а умер он шестидесяти лет, мне исполнилось пятнадцать, — мы лишились денег, мать не имела никакой профессии. Квартиру, правда, нам оставили, но тогда шел процесс так называемого самоуплотнения, и мы были вынуждены добровольно отдать часть нашего жилья. В моем возрасте все это было неинтересно, хотя я помню разговоры о самоуплотнении.

Воспитывала меня в основном мать, отец много времени отдавал фабрике, уставал, рассчитывал, что примется за меня когда я стану взрослее. Восемилетнего ребенка всегда воспитывает мать, а не отец, это естественно. Вот когда мне исполнилось двенадцать, четырнадцать, пятнадцать, он уже мог сказать: это плохо, это не по-мужски, это не по-немецки и так далее. И когда я поступал не лучшим образом, отец умел очень обидно дать знать об этом, так, что я чувствовал себя буквально подлецом. Однажды я совершил не совсем этичный поступок по отношению к нашим знакомым, мелочь какая-то, обычно на это не обращали внимания, но отец заметил, отчитал и произнес с упреком: «Ведь ты же немец, как тебе не стыдно!» Эта фраза засела во мне на всю жизнь. Хотя отец был добрейшим человеком, мягким, внимательным, заботливым, всепрощающим.

Зато мама была строгая. Очень строгая. Но справедливая. Энергичная, жизнерадостная женщина, остроумная, веселая, она требовала выполнения возложенных на нас по дому обязанностей, не терпела фальши, своим примером привила нам способность не терять мужества в неприятных житейских обстоятельствах. При своем порывистом характере могла и подзатыльник дать, но всегда за дело. Наверное, я и бывал недоволен формой наказания — ну что такое: получить подзатыльник и напутствие «чтобы больше подобное никогда не повторялось!», но это не вызывало у меня существенных отрицательных эмоций, потому что я был виноват. Вот если бы я не был виноват, а меня наказали, я бы, наверное, тяжело переживал. А так, за дело, значит, за дело. Все.

В тридцатом году, когда не стало отца, мама все взяла на свои плечи и впоследствии не раз говорила нам, что папа умер «вовремя», имея в виду, что он сам не подвергся репрессиям и поэтому не пострадал и мы. Вероятно, так и было. Ведь немцев на «Скоророде» работало немало, до революции сама фирма была как бы немецкой, но к концу тридцатых годов никого практически не осталось. Многие из них покоятся на Левашовской пустоши.

В школу я пошел семи лет. К тому времени в Петрограде славились три немецкие школы, в которых работали прекрасные педагоги, преподавание велось на немецком языке и было отлично поставлено. Школы были профессионально обусловлены, и родители отдали меня в школу той конфессии, к которой я формально принадлежал. Так как по русским понятиям я был гугенотом, кальвинистом, а не лютеранином — разница небольшая, но она все-таки существует, — то меня и отдали в «гугенотскую» школу, в тридцать четвертую, бывшую реформатскую, хотя особого религиозного рвения в семье не было. Она делилась на русское и немецкое отделения.

Русское охватывало примерно две трети школы, там учились все окрестные ребята и правильно делали, а немецкие дети съезжались со всего города. Школа находилась возле Мариинского театра, далеко от нашего дома, и мне приходилось туда добираться на трамвае и пешком, дорога занимала больше часа.

Родители, отец и мать, были лютеране. Дело в том, что фабрика, на которой работал отец, принадлежала германскому капиталу, называлась, как я уже упоминал, «Скороход» и сохранила свое название не только при советской власти, но и до сего дня. В то время большинство предприятий в Петрограде принадлежали французскому капиталу, но были и немецкого. И хозяева «Скорохода» следили за тем, чтобы во главе предприятия стоял немец, чтобы мастера цехов были немцы, это разумно, потому что все они общались между собой на родном языке. Правила и обычаи на фабрике велись на немецкий лад; ну, скажем, при ней был построен мощный кегельбан, и все мастера — а в то время работали там только мужчины, — собирались после работы, как и полагалось, поиграть в кегли и выпить пива. И чувствовали себя, как в Германии.

Как было заведено в те времена, мы с матерью ходили в церковь напротив Казанского собора. Наведывались туда на Рождество, на Пасху, не регулярно, а когда положено. Сестра моя прошла конфирмацию, а я нет, что-то мне помешало.

На Рождество обязательно устраивали елку, это потом ее уже сделали новогодней. Наше советское правительство признало, что какое-то время будут праздновать и Рождество, и новогодье, потому что слишком глубоко религия вошла в жизнь народа. Но тут же был сделан ханжеский «ход конем»: по указу правительства Рождество и рождественские каникулы праздновались по новому календарному стилю, а в церкви — по старому, поэтому получалось, что Рождество и рождественские каникулы были выходными днями, но совпадали не с православными, а с европейскими. Значит, именно на свое-то Рождество, на немецкое, у меня как раз и были праздники, я освобождался от занятий. А православные работали, учились и это делали нарочно — мол, не запрещаем, празднуйте, пожалуйте, но так как мы перешли на новый стиль, то и праздники перевели на новый стиль. Логика железная.

Елку в доме всегда наряжали родители, это была настоящая церемония. Нас с сестрой загоняли в какую-нибудь пустую комнату, запирали, и мы сидели там в темноте, а в это время на елке зажигались свечи, под елкой раскладывались под белыми салфетками подарки — родительские и наши, — и нам торжественно разрешали выходить. Когда мы выскакивали из темноты к ярко освещенной елке с блестящими игрушками, это был такой контраст, что сразу оглушала, ослепляла необыкновенность момента.

Так же празднично мать старалась отмечать и дни рождений. Вся наша семья помнит один день рождения отца, который замечателен тем, что мать, сестра и я тайно готовили ему подарок. Идея заключалась в том, чтобы успеть поздравить отца, который всегда рано уходил на работу, когда мы еще спали. В день его рождения мать должна была разбудить нас рано утром, когда он сидел на кухне и завтракал, быстренько привести в комнату, где стояло пианино, мать начинает играть, а мы поем песню, которую положено петь по такому поводу.

Все началось так, как было задумано: папа завтракает, мать нас будит,

быстренько одевает, тащит в большую холодную комнату, которая зимой не отапливалась — сэкономили дрова и топили, только когда приходили гости, — там она садится за пианино, и мы начинаем — ти-ти-ти. . . а-а-а. . . И вдруг слышим, как сестра поет: «У меня штаны открыты. . .» — тогда штанишки носили на пуговицах, мать второпях забыла их застегнуть, и та, бедная, с голым. . . торсом попала из теплой постели в истопленную комнату. Но она все-таки поет, не нарушая мелодии, не нарушая гармонии, не желая портить праздник отцу, но поет другие слова. . . Я, конечно, тут же начал дико хохотать, все стали над ней смеяться, она — в рев! Отец был в восторге. Все забыли про день рождения и бросились утешать сестру. Ей в то время было лет семь, мне девять, но мы и сейчас об этом часто вспоминаем, и история эта стала семейной и общеизвестной.

До двадцать пятого года мы жили при фабрике, потом служебные корпуса забрали на нужды предприятия, и правильно забрали, а мы переехали на городскую жилплощадь. Тогда в Петрограде жилищной проблемы не существовало, была проблема выбора — множество квартир стояли пустые. Помню, как мы с матерью ездили — она меня всегда брала с собой — и смотрели: вот тут? Нет, здесь двор плохой, а вот там — лучше. Мама хотела, чтобы мне легко было добираться до школы пешком, поэтому и квартиру подбирали в районе школы. В конце концов нашли на Исаакиевской площади, хорошее было место! Вообще мы жили в красивых местах, которые можно по праву назвать настоящим Петербургом! Памятник Николаю I, Исаакиевский собор, улицы, где я каждый день проходил, идя в школу. . . В этом городе я родился, и мне казалось, что другим он и быть не может. Красивый город, но родной, привычный для меня, я считал, что таким он и должен быть. Не восторгался. Восторг — это когда что-нибудь неожиданное, а мне в Петрограде все было знакомо до мелочей.

Не испытывал я особого восторга и когда нас водили на экскурсии в Эрмитаж, в Русский музей. Ну, прекрасные здания, ну, висят картины, что-то о них говорят, а у меня впечатлений — никаких! А вот в Зимнем дворце, где в те годы был музей революции — Великой французской, нашей и всех прочих, запомнился мне только один экспонат, который меня тогда потряс и до сих пор потрясает: английский ночной горшок начала XIX века, ночная ваза, как тогда выражались, на дне которого был помещен портрет Наполеона! Англичане, так сказать, каждый день. . . Старая вражда, выраженная таким оригинальным способом. Вот это я запомнил.

Особо любимых мест в Петрограде у меня не было, в Летнем саду, во всяком случае, я не гулял, это Онегина туда водили гувернеры. Даже на острова я ездил не для удовольствия, а работать на 23-м авиационном заводе. И закатом на островах не любовался, а вот буддийским храмом иногда любовался, он стоял неподалеку от завода и был такой странный, необычной для нас архитектуры. Не знаю, сохранился ли он сейчас. . .

Когда уже много позже я уехал в Москву, в квартире на Исаакиевской площади оставались мои мать и сестра, они жили там до самой войны. После войны, конечно, все было разорено, разрушено, надо было хлопотать о новой квартире, и этим занялась сестра, в замужестве Миклухо-Маклай, с мужем-фронтовиком, который был ранен во время войны, имел льготы, хотя отличался строптивым характером и на фронте начальство его не любило, поэтому награждался он очень скромно. И все же получил четыре медали «За отвагу» и орден Красной Звезды. Всю войну он прошел развед-

чиком, это самая опасная профессия на фронте, но, к счастью, уцелел. . .

Так вот, возвращаясь к своему детству, скажу, что при всех перипетиях оно было сравнительно счастливым, хотя после смерти отца жили мы бедно. Игрушек у меня не было, кроме мишки, он и сейчас цел, желтовато-коричневого цвета, вместо глаз черненькие пуговички. С годами ворс его шкурки совсем облез, потому что я всюду таскал его с собой, с двух лет, когда мне его подарили. Все исчезло, а он до сих пор остался, и я к нему очень привязан. Я его почему-то особенно полюбил, носился с ним все время и не то чтобы играл, а просто это был мой мишка. Кроме меня, на него никто не посягал, ни друзья, ни сестра — я даже дочерям его не давал, когда они у меня родились. Мой талисман, бедный мой мишка, страдалец. Меня всегда интересовало, что у него внутри, поэтому ноги у него «повреждены»: тогда ведь всюду топили дровами, печи стояли в каждой комнате, в них были дверцы, одна наружная, плотная, другая внутренняя, с дырочками для лучшей тяги. И вот когда наружная дверца открывалась, внутренняя, раскаленная, не давала дровам и углям выпасть на пол. И мне очень нравилось прислонять ноги медвежонка к дырочкам тяги. . . Мишка совершал со мной путешествие в Саратовскую губернию в семнадцатом году и обратно в Петроград в двадцатом, был моей постоянной и в общем-то единственной игрушкой, и когда мать попыталась его выкинуть однажды, во время переезда, я дико орал и требовал, чтобы мишку оставили. И его оставили. С тех пор он меня всюду сопровождает, в тридцать седьмом я взял его с собой в Москву, даже на космические запуски брал потом как талисман. Сейчас, правда, я с ним редко играю. . . Но когда меня будут хоронить, его, по моей просьбе, тоже положат вместе со мной. . .

Вначале я не мог ходить в школу самостоятельно, и первые два раза мама везла меня на трамвае, показывала дорогу, а потом сказала: «Покупай билет сам, учись», — тогда была разная цена проезда, в зависимости от дальности. От трамвайной остановки до школы надо было идти довольно далеко, минут двадцать пять, и первый раз, отправившись в путь самостоятельно, но все-таки под контролем матери, которая молча шла сзади, я где надо поворачивал, переходил дорогу, но, конечно, забрел не туда. Тогда она еще пару раз поехала со мной, и перестала меня сопровождать, только когда я совсем освоился.

Школа была первой и второй ступени. Классы «А», «Б», «В», «Г», «Д» относились к первой ступени, а классы 1-й, 2-й, 3-й, 4-й — ко второй ступени. Четвертым классом кончалось школьное обучение. Сейчас это соответствует девятому классу, то есть тогда это была нормальная девятилетка. Преподавали нам по-немецки, и выговоры мы получали на немецком языке.

Я был парень озорной, но не самый отъявленный негодяй, который бьет стекла и хулиганит. Хотя и разбил случайно толстое матовое стекло — мы дрались, и то ли мой противник меня, то ли я его толкнул на это стекло. Раздался страшный звон и грохот, нам влетело по первое число, последовало какое-то наказание, но не это главное. Самым страшным наказанием считался вызов к директору — у нас был очень строгий и справедливый директор; и если в классе что-нибудь учинишь и тебя к стенке поставят, это все ерунда по сравнению с тем, когда скажут: «Ступай к директору и сам расскажи ему об этом», — такое я один раз пережил. Он ничего не сделал, никак не наказал, но сам факт меня потряс, сам вид его, такой суровый!

Итак, поступил я в немецкую школу, учился в ней, но в какой-то момент

власти решили: зачем нам немецкие школы? И нас сделали русской школой, в которой я продолжал заниматься. Потом родилась идея, что стране нужны кадры (это действительно было так), выпускники школ должны были получать специальность и идти прямо на производство. И поэтому школы приобрели «уклоны». В нашей школе их было два: чертежный и химический, мы могли выбирать. Большинство «уклонялись» на химический, считалось, что за этой профессией будущее, но я не хотел в этот «уклон», я терпеть не мог химические запахи. Для того, чтобы привлечь нас на химическое отделение, устроили экскурсию на химический завод, и я понял, что никогда в жизни больше не подойду к нему, потому что там буквально печем дышать. Единственный цех мне запомнился, где делали борную кислоту, — там стояли ванны, в них постепенно оседали кристаллы борной кислоты, и воздух был получше. Но некоторые мальчишки, помню, пришли в восторг от того, что нельзя дышать: вот настоящее дело, это вам не детская игра!

Я «уклонился» на чертежное отделение, хотя оно больше подходило девочкам, будущим копировщицам, чертежницам.

Но там имелось топографическое отделение. Стать топографом, бродить на свежем воздухе с теодолитом — вот это меня привлекало. Я проучился там один год, а потом один мой умный энергичный приятель, Савелий Соломонович Щедровицкий, царство ему небесное, тогда просто Савка, сказал: «Знаешь, надо отсюда сматываться!» Если бы не он, я скорее всего так бы и кончил топографическое отделение, потому что был человеком неинициативным, плыл более-менее по течению, в те времена во всяком случае.

«Быть топографом, — сказал Савка, — чуть какая-то!» И у нас с ним слово «топограф» стало ругательным: эх ты, топограф! Дурак, значит. . . Вот мы с ним и смотались. А куда идти? И тогда Савка решил, что надо идти в немецкую национальную школу. Все немецкие школы тогда уже были закрыты, но теоретически считалось, что в городе еще живут люди, которые не знают русского языка. Теоретически! А для них нужны школы? Нужны! И вот советская власть, Наркомпрос, создали немецкую, польскую, еврейскую национальные школы. . . Не знаю, может быть, были еще какие-нибудь национальные школы, но вот немецкую, польскую и еврейскую помню хорошо. И я кончил немецкую школу для лиц, плохо знающих русский язык. Это было смешно, потому что в нашей семье главным языком был русский, и мать со мной часто говорила по-русски. Я не отдавал себе отчета, что нас в семье учат немецкому языку, он вошел в мое сознание совершенно естественно, оба языка в нашем доме переплетались. Мать и отец старались говорить по-русски, потому что еще не кончилась война с Германией, первая мировая война, и они очень боялись, что мальчишки во дворе станут меня бить: немец! В отношении языка я не испытывал никакого дискомфорта, просто мы разговаривали, как разговаривалось, не вдаваясь ни в какие грамматические правила. Я слышал и перенимал оба языка, как перенимал бы их всякий ребенок. Причем маленьким я даже понимал эстонский, потому что моя мать и нянька были родом из Эстонии, и когда мать не хотела, чтобы я знал, о чем идет речь, обе переходили на эстонский язык. Однажды они что-то сказали обо мне, а я им ответил, это их так потрясло, что я до сих пор помню и смеюсь. Позже учили меня и французскому языку, считалось, что в приличной семье ребенок должен владеть французским и уметь играть на фортепьяно.

В те годы в стране власть часто менялась, и любая перемена воспринималась моим отцом прежде всего как стрельба. Поэтому в семнадцатом году он увез нас подальше из Петрограда, чтобы не подвергать опасности, в Саратовскую губернию. Мне было два с небольшим года. Нам повезло: во время гражданской войны мы жили на Волге, там, где не было голода, на немецких землях: мой отец оттуда родом. Насколько мне помнится, родители мои ничего в политике не понимали, ими руководило чувство страха за семью, желание нас уберечь. Никогда потом у меня с отцом не возникало никаких разговоров о власти, он, по-моему, совершенно ею не интересовался, но помню его постоянный отрицательный комментарий: «Господи, нет хозяина! Разве можно, чтобы такой хлам валялся на заводе?» Такой была его обязательная реакция на всякий беспорядок, он считал, что все катится вниз. Поскольку мы жили на территории завода и, естественно, много раз проходили там, куда никого не пускали, кроме своих, то видели беспорядок, валяющиеся без призора вещи, которые не должны были валяться. Видя такой кавардак на родном предприятии, а не вообще в стране, отец и говорил, что хозяина нет, был бы хозяин, ничего подобного не допустил бы. Причем он не мне, не матери это говорил, он как бы бормотал себе под нос.

Умер отец от классической болезни, от сердечной недостаточности — надрвался во время гражданской войны, во время революции. Человек очень честный, ответственный, он щепетильно относился к своим обязанностям, и когда в середине двадцатых годов старых специалистов стали заменять так называемыми «красными» директорами, которые в деле ничего не понимали, но осуществляли советскую власть на предприятии, очень переживал. «Скороход» национализировали в семнадцатом году, и отца не только оставили на работе, но даже повысили в должности. До революции он был мастером, а после революции руководство, видимо, сбежало, и его выбрали техническим руководителем, в «пару» красному директору. Он, конечно, вкладывал в дело всю свою душу, с немецкой аккуратностью. Ну и подорвал на этом здоровье. Перед смертью отец несколько лет проработал на «Пролетарской победе», как бы филиале «Скорохода». Зная характер отца, думаю, что волновало его не столько изменение в собственном положении на фабрике, а то, что серьезное и очень тонкое дело химической обработки кожи попало в неумелые руки. Помню, как, вернувшись домой с работы, он часами ходил из угла в угол, заложив руки за спину. О чем он думал? Одному Богу известно...

Смерть отца была первой потерей такого рода, с которой я столкнулся лицом к лицу. Не могу определить то свое состояние, не помню его, помню только, что мне было очень тяжело. Мы с матерью дежурили по очереди у постели отца, старались находиться все время рядом с ним. Временами он впадал в бред, ему что-то мерещилось, он говорил: «Куры какие-то ходят, надо их прогнать...» — какие куры в больнице? А потом мать велела мне пойти домой поспать, потому что предстояло дежурить у отца ночью, и я вернулся в больницу сменить ее только вечером; когда вошел в палату, там не было ни отца, ни матери, и я понял, почему. Медсестра так на меня посмотрела... Я у нее ничего не спросил, повернулся и пошел обратно. Ну что спрашивать! Все и так ясно.

Конечно, мне было очень тяжело, но это меня как бы не касалось, непосредственно не касалось. Хотя мысли о смерти и о собственной смертности

приходили ко мне и до, и после кончины отца, но это были теоретические мысли. И разговоры на эту тему со старшим другом Борисом Ивановым, отцовским крестником, тоже можно назвать отвлеченными, я просто принимал в них участие, опять же теоретически. Я был, скажем так, недостаточно взрослый, чтобы по-настоящему переживать. А позже... Я понял, что такова жизнь. Я помнил отца, любил его, но мы начали по-настоящему сближаться и интересоваться друг другом буквально за полгода до его смерти. Отец стал воспринимать меня как взрослого, а не как мальчишку, который вьется около мамы. И я начал немного понимать отца, очень недолго и самое малое в нем. И оказалось в результате, что мужского начала у нас в семье не было. Не знаю, как все сложилось бы, останься отец в живых, мне не с чем сравнивать. Может быть, это кончилось бы очень скверно, если бы он выжил, его могли арестовать за то, что он немец, ведь уже близился тридцать седьмой год, и я сразу оказался бы сыном врага народа. Может быть, мне повезло, что все мои родственники были на том свете, те, кто мог нести ответственность до меня — отец и старший брат. И поэтому я не стал ни сыном, ни братом врагов народа. Время ведь было сумасшедшее, это я сейчас понимаю, что оно было сумасшедшее, а тогда не понимал.

Еще тяжелее я переживал смерть матери, которая скончалась уже после Великой Отечественной войны. Сестра сохранила письма того времени. Приведу из них несколько строк:

«4.IV.52

Вот опять пятница. Как и ты, я каждую пятницу, чаще, чем обычно, возвращаюсь мыслями к нашей мамане... Потерю мамы я переживаю тяжелее, чем смерть папы в 30-м году. Не то, конечно, чтобы я его меньше любил, а тогда оставалась мама, мы были еще мелкими и как-то инстинктивно „прятались за маму“. Теперь „прятаться“ не за кого, и это делает все более тяжелым.

Вспоминается многое из детства и из более поздних лет, и многое хотелось бы сделать по-другому, лучше...»

«15.V.52

Вчера и сегодня нахожусь под впечатлением двухмесячной годовщины. Я вообще тяжелее, чем думалось, переживаю наше общее горе. Оно находит на меня часто и неожиданно, и дома, и на работе...»

Так вот, в семнадцатом году отец отправил нас в Саратовскую губернию (потом это место стало республикой немцев Поволжья), потому что боялся беспорядков, и того, что будет голодно. А в Поволжье жили какие-никакие родственники по отцовской линии, и он считал, что мы там пробудем лето, отдохнем и переждем трудное время. Застрали мы там на три года, вернулись в Петроград только в двадцатом.

Смутно помню дорогу на пароходе. Плыли по Волге от Рыбинска до Саратова, а вот как добирались до Рыбинска, этого не помню. На пароходе с нами ехали две женщины лет двадцати-двадцати пяти, они играли со мной, а я их смешил тем, что на вопрос: «Мальчик, сколько тебе лет?» всегда отвечал: «Пять!», потому что это была единственная цифра, которую я знал.

На самом деле мне было два с половиной годика, и наши спутницы смеялись надо мной, думая, что в пять лет я еще такой дурачок. Когда выяснился мой истинный возраст, они подарили мне на память двух фарфоровых овечек, которые долго у меня хранились и которыми я много играл.

Из Саратова мы сразу переехали в городок, где родился отец. Раньше он назывался Екатериненштадт, в честь Екатерины II, а неофициальное его название было Баронск, потому что основал этот поселок какой-то швейцарский барон. Естественно, после революции город переименовали в Марксштадт.

В Баронске мы снимали домик и жили там одни. Это была усадьба с двумя домами, маленьким и большим, в большом с кем-то жили хозяева, с кем — не помню, а наш был крошечный, деревянный, в нем устроились мать, няня, сестра и я. По-моему, там была всего одна комната, в которой мы и прожили все три года.

Вокруг Баронска лежали степи, но я этого тогда не понимал, потому что сам городишко утопал в зелени, окруженный садами, фруктовыми деревьями, и эти зеленые кущи запомнились очень хорошо. Помню и то, как мать одевала меня поприличней, и мы ехали к кому-то из родственников в гости, где можно было рвать сколько угодно яблок. Не знаю, чисто ли немецким было это поселение, по-моему, все-таки смешанным, поскольку там стояли три церкви — православная, католическая и лютеранская, что говорило о достаточном количестве прихожан протестантов, католиков и православных.

Однажды в гостях со мной произошел казус: у кого-то из отцовских родственников собралось много народа. Мы, дети, конечно, играли, а потом вдруг одна из хозяек выносит большой таз, полный пирожков, жаренных в масле, пончиков. У нас они назывались — пышки. «Дети, дети, за пышками!» Дети выстроились в очередь, я, один из самых маленьких, четырехлетний, оказался, конечно, в хвосте. Стою в очереди, жду и думаю: хватит мне или не хватит? Хватит или не хватит? Пожалуй, хватит, хотя в тазу и не так много осталось. А если по второму разу? Вижу, что уже полакомившиеся пышками стали во второй раз к раздаче — тут мне явно не хватит. И я, как говорится, решил «взять быка за рога». Когда подошла моя очередь, я сказал: «Тетя, битте, пышка три штука». Но получил я, как все, одну. Так это знаменитое «пышка три штука» приклеилось ко мне навсегда.

В детстве я любил блины и гороховый суп и до сих пор питаю к ним слабость. Это неизменное, любимое на всю жизнь. Сладкое — нет. А гороховый суп, да сваренный со шкварками, с кореечкой!.. Поэтому в мой день рождения мать мне всегда готовила гороховый суп и блины со сметаной, с маслом и с селедкой. Я блаженствовал! И сейчас мы Масленую неделю отмечаем блинами — масленица ведь тоже пост, но не Великий. Во время масленицы нельзя есть мяса, поэтому блины едят с рыбой, с грибами. Это как бы преддверие, люди готовятся к Великому посту. Так что масленица вовсе не обжорная неделя. Я гугенот, поститься мне не надо было, но теперь я стал православным. Недавно окрестился в новую веру, потому что помри я — меня по гугенотскому обряду никто не похоронит, у нас же и церкви такой нет, а по православному отпоют, как полагается.

Сестра моя была во время нашей жизни в Баронске совсем маленькой, не помню, как она появилась на свет и что этому предшествовало, но пом-

ню более поздние рассказы матери об этом и о том, что я терпеть не мог свою сестру. Это была ревность. И матери приходилось прятаться от меня, чтобы кормить ребенка, потому что я приходил в неистовство, скандалил, требовал, чтобы прекратили это безобразие. Так рассказывала мать, но сам я смутно помню о своей неприязни к сестре. Потом я к ней привык, как привыкаешь ко всему. Никакой особой любви у нас друг к другу тогда не было, просто росли рядом, как кошка с собакой, живущие в одном доме, — они не ссорятся, а как бы не замечают друг друга. Играли иногда вместе, но все-таки игры у нас были разные: у сестры кастрюлечки, ей кто-то подарил целый набор, и она все время варила в них что-то воображаемое, а я что-то строил и ломал.

Помню, как однажды обманул сестру: у одной кастрюльки сломалась ручка, и я заявил, что могу починить. Я все-таки был старше, сообразил, как это сделать, постучал, ручка укрепилась, сестра очень обрадовалась, а я ей сказал: теперь ты должна заплатить мне за работу. Она согласилась, и я в качестве платы взял эту самую кастрюльку. Сестра не поняла, что таким образом проиграла все — раньше у нее была кастрюлька без ручки, а в результате моей починки не осталось никакой кастрюльки. Конечно, она все равно потом продолжала играть этой кастрюлькой, но я, как и полагаются, взял плату за починку, за свою работу!

Помнится еще знаменитая история с клюквенным киселем, которого нам дали на двоих одну тарелку, чтобы мы ели по очереди, каждый по ложке. Я предложил: нет, давай так, сначала я съем свою половину, а потом ты. Ну, давай. Я провел линию посередине киселя и стал есть свою половину. Линия остается, а снизу кисель растекается. Когда сестра увидела, что тарелка пуста, она завyla от огорчения. Я ее обманул, сожрал весь кисель, но я «честно» брал только со своей стороны.

В Баронске мы жили долго, отец присылал какие-то деньги, насколько я понимаю, но скоро появился закон, что все должны работать — кто не работает, тот не ест. Это, конечно, была глупость, потому что все домохозяйки оказались перед необходимостью немедленного трудоустройства, а так как они ничего не умели, кроме домашней хозяйственной работы, то моя мама пошла работать в контору, вроде горсовета, где печатала на машинке какие-то бумажки. Конечно, ей пришлось для этого научиться печатать. Помню, как я туда приходил, и мне дарили катушки от лент, которые вставляются в машинку, и как я ими играл. Мать проработала там некоторое время формально и говорила, что это чепуха, а не работа, но таким образом она была «трудоустроенная». А с нами, между прочим, сидела няня Минна, та самая, с которой мать говорила по-эстонски.

Хорошо помню обратный путь в Петроград. За нами приехал отец и первое что сказал: завтра надо пойти и наловить птиц. «Ты умеешь ловить птиц?» — спросил он меня. — «Нет». — «Ну, пойдем, я тебя научу». И на следующий день мы торжественно отправились ловить птиц. Интересно было! Отец взял с собой соль, еще что-то и начал объяснять: «Птиц ловят так: я сижу в засаде, а ты поменьше, тебя птицы подпустят скорей чем меня, главное — насыпать им соли на хвост, тогда они тут же становятся ручными, после этого бери их голыми руками». Дал мне кулек, и я стал ползать, как дурак, в кустах, пытаюсь насыпать птицам соли на хвост. . . Большой шутник был мой отец, очень любил подсмеяться, подшутить, разыграть, но добродушно. Конечно, я не поймал ни одной птицы, однако отец говорил

об этом так серьезно, что я поверил, хотя и удивился. Обман не раскрылся, я чувствовал себя виноватым, что не сумел сделать такой простой вещи — насыпать соли на хвост хоть одной птичке, и отец укорял меня: «Ну что же ты, не можешь поймать птицу таким простым способом!» Мы снова погрузились на пароход и отправились до Рыбинска, по дороге пересаживались на другой пароходик, поменьше, видно, река мелела, но первый пароход был огромный, волжский гигант, многопалубный и назывался, по-моему, «Совдеп» или что-то в этом роде.

В Рыбинске при пересадке я пережил страшную ночь. Нас высадили, пароход отчалил, а новый еще не пришел. И мы остались на улице. Лил жуткий дождь, под ногами слякоть — время противное, осень, — и мать уговорила какого-то сторожа пустить меня на склад, который он охранял. Сначала тот заартачился — не имею права, по мать его убедила, что пятилетний ребенок ничего плохого сделать не может. Меня засунули в сарай, где было сухо и дождь не мочил, и оставили одного, наказав никого не пускать. Я это воспринял очень серьезно, как настоящее поручение, вроде того, как соли птице на хвост насыпать. И поэтому, когда пришли за мной — уже надо было ехать дальше, я устроил скандал и никого не пускал, грудью встал на защиту склада. Помню, меня потрясло, что дверь открылась и вломилась какие-то люди, а я же отвечаю за сохранность сарая! До сих пор живет во мне этот ужас — не потому, что они со мной что-то сделают, а потому, что я, ответственный, не укараулил того, что мне доверили.

Когда мы вернулись в Петроград, шел двадцатый год. Подробности всего происходящего изгладились в памяти, но помню, что к нашему приезду отец засушил много сухарей, и каждый вечер я и сестра получали кружку, набитую сухарями и залитую крутым кипятком. Эту тюрю мы ели с огромным удовольствием. С огромным удовольствием! Как теперь понимаю, мы проскочили между голодом в Петрограде, который к нашему приезду уже кончился, и голодом в Поволжье, который начался в двадцать первом году.

В Петрограде было вначале голодновато, не то чтобы физически мы недоедали, но никаких разносолов не было. А потом, к двадцать третьему году, к нэпу, еды было сколько угодно, отец тогда неплохо зарабатывал, так что мы жили не скажу что беззаботно, но без напряжения.

Тем не менее существовали бесплатные детские столовые, где давали полхлебку — свеклу и морковку, сваренные в воде, и я туда ходил, ел каждый день эту баланду. А потом у нас с другими ребятами был ритуал — правда, взрослые относились к нему отрицательно, но мы железно его проводили, а именно: когда кончали есть, брали миски как резонаторы и в них рыгали: «У-а, у-а!» Уж не знаю, что нам хотелось этим показать, но каждый обед мы непременно завершали подобным актом. Кто-то потом мне сказал, что у некоторых народов это обязательный знак вежливости — продемонстрировать таким образом, что ты сыт. Наелся так, что тебя распирает. У меня, правда, плохо получалось, а у моего двоюродного брата звучало довольно мощно — у-ы! И так как в ритуале участвовали все, и миски работали как резонаторы, то концерт был еще тот! Каждодневный рев-рыгаловка!

Я регулярно ходил в бесплатную столовую, а значит, жилось нам не ахти как. Столовая находилась по месту жительства, наверное, составлялись какие-то списки, тогда это было принято. Не могу сказать, что я выглядел истощенным, меня досыта кормили дома, и голода я не испытывал, но, с другой стороны, если мать меня туда посылала, значит, по ее понятиям,

еды было недостаточно.

И все-таки в то время я жил в определенной безопасности. Это просто свойство молодости. Я не задавался никакими бесполезными, с моей точки зрения, вопросами, мне казалось, что вес как шло, так и будет идти. А шло, на мой взгляд, хорошо. Ну, в каком смысле хорошо? Пойду в школу, после уроков пообедаю дома, повожусь с ребятами, поиграю, потом отправлюсь в детскую техническую станцию, поконструирую и поклею разные самолетики, потом — кружок юных натуралистов, еще какой-нибудь кружок. Все шло вроде бы нормально. Пока отец был жив и зарабатывал, мы жили прилично, а потом бедно, правда, я этой бедности как бы не чувствовал, считал, что и так можно жить, но сейчас-то, объективно говоря, понимаю, что жили очень бедно. Я не ощущал ущемленности, просто знал, что масла у нас не бывает, только маргарин, и хлеб мы едим не с маслом, а с маргарином. С одеждой тоже было не блеск. Во всяком случае, я из-за нее и танцевать, пожалуй, не научился, мне не в чем было ходить на вечера. Многие ребята на это не обращали внимания, ну, подумаешь, плохо одет, все равно потанцуем. А я не мог, не знаю почему. Наверное, по глупости. Мне казалось, все выглядят прилично, а я ободрашка какой-то.

Позднее, став студентом, я получал казенную форму, хотя ее все равно приходилось выкупать. Стоила она дешево, но все-таки приплачивали какую-то сумму, сравнительно небольшую. А до этого носил что-то непонятное, юнгштурмовку с португеей, по воспоминаниям сестры, какие-то брюки и куртки, пошитые мамой. Первый костюм я себе позволил, когда стал инженером. И появился в нем в Москве. По правде говоря, это был отцовский костюм, перешитый на меня, брюки остались как есть, а пиджак пришлось переделать.

Ярких событий в школьные годы не происходило, да и не могло происходить, потому что школа каждый год менялась. И самое яркое событие — очередная ее реорганизация. Это было нечто ужасное. Из-за этого я совершенно не усвоил, например, химии, потому что появился преподаватель — «левак», уж не знаю, был ли он искренний «левак», то есть приверженец новой системы, или жулик. Уроки он проводил так: «Учебники перед вами? Откройте страницу такую-то, параграф такой-то». Мы открываем. Причем учебник не на одного, а на пять человек. Садимся в кружок, преподаватель говорит: «Ну, теперь читайте, если что будет непонятно, спрашивайте». Мы сидим голова к голове и, конечно, начинаем рассказывать всякие истории, не заглядывая в книгу. Но, чтобы не влипнуть, время от времени задаем вопросы: «Вот здесь непонятно сказано, что хлор соединяется с чем-то. . . » Он с важным видом объясняет. «Ах да, теперь понятно. . . » И опять начинаем болтать. Так проходит урок, в результате которого мы ничего не усвоили. В конце концов «левака» выгнали, дирекция поняла, что никакой он не учитель, появился нормальный учитель-химик, но уже преподавал нам органическую химию, неорганическая «проехала» мимо меня, поэтому я ее не знаю.

Странные истории приключались у нас в школе того времени, но я бы сказал так: в среднем учителя были хорошие, они старались не реагировать на всякие теоретические новшества. Старые дореволюционные учителя учили нас хорошо, и я им очень благодарен по сей день. Особенно выдающейся дамой была преподавательница математики, и математика стала моим любимым предметом, может быть, именно потому, что Ольга Юльевна (види-

те, до сих пор помню ее имя!) была очень хорошим педагогом. Она умела заставить нас думать самостоятельно, а не просто командовала: дети, поможьте одно на другое и получите третье. Она ставила проблему, которую мы решали всем классом. Одним словом, Ольга Юльевна принадлежала к типу педагогов, старавшихся развить в детях творческое начало. Так что мне в этом смысле повезло.

Гуманитарных предметов тогда не было, а то, что нам преподавали, можно назвать как угодно, только не гуманитарными дисциплинами. Например, для нас даже самого понятия «история» не существовало, вместо истории читались какие-то странные курсы, которые назывались «обществоведение»: все общество делилось на классы, и один класс шел против другого. Считалось неприличным называть Петра I Петром Великим, так как он-де был представителем буржуазно-помещичьего класса, который хотел захватить то-то и то-то и обездолить крестьянство. Именно так нам все и преподносили, блоками. И учебников по истории не было никаких, вот такая нелепая ситуация. В конце концов она стала настолько очевидной, что создали специальную комиссию в ЦК партии по проблеме преподавания истории в школе (я уже к тому времени школу закончил). Комиссия состояла из Сталина, Кирова и кого-то еще. Вот тогда-то и стали учить истории. Но поскольку она столько лет была в загоне, никто ее не знал, а главное, никто не знал, как ее преподавать. К тому времени и вышел учебник, одобренный Сталиным и всей комиссией, учебник для четвертого класса, первый учебник истории в советское время. А дальше сложилась уже совсем комическая ситуация, которую я наблюдал как бы со стороны: единственным источником, цензурно-безупречным, стал учебник для четвертого класса средней школы, поскольку его «благословил» Сталин. По-моему, это был учебник Шестакова. То есть появилась история, но не дальше четвертого класса. Было очень смешно, когда во всяких журнальных статьях по истории России, которые тут же появились, в списке использованной литературы называли учебник для четвертого класса. Существовали, конечно, дореволюционные книги по истории России, но что в них — черт его знает! — а это апробировано самим Сталиным. И вот публикуется статья какого-то крупного ученого или академика по историческим проблемам, а ссылки в ней — на школьный учебник!

Естественные дисциплины, то есть естествознание, ботаника, зоология, у меня шли хорошо. Был юннатом, сажал деревья, животинки какие-то водились у нас, а главное юннатское заведение, Центральный клуб юных натуралистов, располагалось недалеко, в том же квартале, где я жил, поэтому после школы я знал куда пойти. Там стоял аквариум, плавали рыбки, но главное было — треп: трепались с ребятами о рыбках, хомяках, о том, как бы устроиться в экспедицию и поехать куда-нибудь летом — вот чем мы жили. И в этой среде я не был особо активным, не был и особо пассивным. Как все. Что все делали, то и делал, не выделялся. Хотя мама считала, что я страшный бездельник, дома не занимаюсь уроками, сочинение пишу перед самым уходом в школу утром, соскочив с постели, в одной рубашке. И когда мама меня ругала за то, что я не занимаюсь дома, я с удивлением отвечал: «Ведь я все это уже слышал на уроке! Раз я вынужден — хочу-не хочу — высиживать положенные часы в школе, то нет смысла терять время и не слушать, а потом заниматься еще и дома». Наконец матери это надоело, она пошла в школу и сказала учительнице: «Пожалуйста, спросите

сегодня моего Бобку (так меня звали дома), он уроков дома не готовил». Учительница спросила и поставила «отлично». Память у меня тогда была очень хорошая.

Если дома меня называли Бобкой, то в школе приятели звали Пушкой. Почему Пушка? Потому что это естественная трансформация фамилии: Раушенбах — Раушенпушка — Пушка. До сих пор я Пушка, когда встречаюсь с одноклассниками, Пушкой буду для них до конца, потому что так меня «окрестили», говоря современным языком, в третьем классе и до окончания школы иначе не звали. Хотя буквальный перевод моей фамилии на русский язык — «журчащий ручей».

Школьные годы очень интересные, но они проходят как бы бессознательно, бессмысленно, как будто еще не понимаешь, что живешь. А вот потом возникает интерес и оказывается, что самое главное — прошедшие годы, только осознаешь это поздно.

Не скажу, что я был спортивным мальчиком, нормально занимался гимнастикой, в школе маршировал, упражнения выполнял вместе со всеми, но увлекался этим не очень. Любил ходить на лыжах, а вот коньки мне не нравились. Я потом даже купил их и пытался посещать каток, потому что туда таскались все мои школьные друзья, но понял, что это не для меня. Что толку крутиться на одном месте? То ли дело лыжи! Там все меняется — вот холмы, вот дорога идет прямо вперед, а потом вдруг вильнула в сторону. Это замечательно. Идешь, бежишь, катишься под горку или взбираешься на гору с трудом — разве можно сравнить с катком? В лыжах есть перспектива движения.

Признаюсь, что я научился кататься на коньках, когда мне было уже лет сорок, и только ради того, чтобы водить на каток своих дочек. Коньки у меня были самые элементарные, назывались «гаги», и я специально поехал зимой в дом отдыха, прихватив эти коньки, и там учился кататься — ничего, не стеснялся! Все, конечно, удивлялись, что это за старый хрен на коньках ковыляет, главное, учится. . . Я все это преодолел и повел детей на каток. Они научились гораздо быстрее меня, но и им коньки тоже были не так интересны, как лыжи. Считая себя обязанным, как отец, повести их на каток, показать, научить, я их научил. А любят они, как и я, лыжи, и очень неплохо на них ходят.

Велосипеда своего в детстве я не имел, но научился ездить на чужом, и особых воспоминаний у меня это не вызывает, тем более что ездил-то я не в городе, а только на даче. Дачу мы снимали каждый год, было два любимых направления по Финляндской дороге. До революции мы ездили в Куоккала, после революции это превратилось в за границу, наша ветка кончалась Белоостровом, и тогда мы стали снимать дачу в Парголово, Шувалове, Озерках, а потом в Юкках. Сейчас эти озерные, лесистые места вошли в черту города и, конечно, утратили свою дачную прелесть.

О том, что я, когда вырасту, буду работать в авиации, я знал лет с восьми. Это была не мода, а серьезное решение, принятое благодаря в какой-то мере моему приятелю Борису Иванову, крестнику моего отца, лет на восемь старше меня. Разница в возрасте большая, и это была не дружба, а с моей стороны — преклонение, с его же — покровительство. Я считал, что он верх совершенства на белом свете, а ему нравилось иметь такого вассала, на которого он мог смотреть сверху вниз и воспитывать. Он был очень хорошим, Борис Иванов. Однажды показал мне в большом журнале, кажется, в

«Ниве», вышедшей в военное время, году в четырнадцатом–пятнадцатом, снимок английских кораблей, сделанный с английского самолета. Снимали с небольшой высоты, поэтому крупные корабли были хорошо видны, и Борис мне сказал: «Смотри-ка, смотри, все совершенно не страшно. Сфотографировано с самолета, а смотреть не страшно». Меня это так поразило, что зацепилось на всю жизнь — только летать, только летать! Единственное, что я все-таки сообразил, что просто летать неинтересно, а интересно строить самолеты. И вот после этой фотографии в «Ниве», после слов Бориса Иванова, что «все совершенно не страшно», я пришел в авиацию. Совершенно случайно, в общем-то. Но это первая любовь, самая горячая и вечная.

Глава 2

Школу я кончил слишком рано. Поступая туда в семь лет и проходя собеседование вроде экзамена, я выказал незаурядные знания, и педагог решила, что в первом классе мне делать нечего, нечего с моими знаниями мне делать и во втором, но не может же она семилетнего ребенка зачислить сразу в третий класс! И я начал учиться со второго класса.

Поэтому после окончания школы я не мог никуда поступать, мне не хватало лет, это во-первых, во-вторых, тогда в институты принимали людей только с рабочим стажем, желательного пятилетнего. И, как уже упоминалось, я пошел работать на 23-й авиационный Ленинградский завод, которого сейчас уже нет, о его существовании не помнят даже специалисты-авиационщики. Располагался он недалеко от места дуэли Пушкина, на Черной речке, там, где она впадает в дельту Невы.

Проработал я недолго, стоял на сборке самолетов — руки, молоток, гвозди, отвертка, сверло, дрель. Назывался — «столяр-сборщик»: самолеты-то тогда были деревянные и обтягивались тканью. Мне как-то удалось словчить, и я перешел с серийного производства, где было довольно скучно, на сборку опытных самолетов. Здесь работалось интереснее, каждый день происходило что-то новое. Кроме того, после сборки мы с самолетом ездили на аэродром и там его испытывали.

Получал я обычную зарплату и получал бы ее еще четыре года, чтобы выработать стаж, — а у меня за плечами был всего один трудовой год, — но, как всегда, мне в жизни повезло. Отец моего школьного приятеля, профессор, имел то ли родственника, то ли знакомого члена Ленинградского обкома, не рядового партийца, а человека, занимающего крупный пост, особое положение в Ленинграде; через профессора он узнал о моем желании поступить в военное учебное заведение — Ленинградский институт инженеров гражданского воздушного флота, позвонил в институт кому надо и сказал: братцы, надо взять. «Надо, Федя, надо. . . » Я пришел, на меня посмотрели с презрением и зачислили. В те времена вступительные экзамены не проводились, принимали по анкетным данным, а меня приняли по звонку. По благу, говоря языком середины нашего века. Национальный вопрос тогда никого не интересовал, считалось, что страна у нас интернациональная, это уже потом стали заглядывать в документы: а как у него с пятым пунктом?

В середине первого семестра в институте спохватились, что все-таки неправильно делают, принимая студентов без экзаменов, и сообщили нам, что предстоит диктант по русскому языку, прибавив в виде извинения: «Ра-

ди Бога, не думайте, что это экзамен, просто мы хотим иметь представление об уровне вашей грамотности, если надо, то поможем кому-то, отчислять никого не будем. . . » И мы писали диктант.

Не знаю, чем кончилось это дело, но обнаружилось феерическое, невероятное количество ошибок, у меня, я думаю, тоже, однако результатов нам не сказали, а оценили нашу грамотность в общем. Ведь когда я учился в школе, считалось даже неприличным писать грамотно, это, мол, не по-пролетарски.

Поступив в институт, и не просто в институт, а в авиационный, я, конечно, был доволен, испытывал интерес, учился с рвением и энтузиазмом. Сейчас-то я знаю, что институт был слабенский, а тогда этого не знал и все силы вкладывал в учебу, первое дело жизни. Вторым делом стал планизм, в который меня вовлек мой друг Игорь Костенко, сейчас он уже умер. Он был, так сказать, заводилой, а я — на подхвате, но то, что мы начали, было уже не учебой, мы строили, пока планеры.

Занятия в институте шли своим чередом, и кроме буквальной учебы у меня была учеба творческая, требовавшая и опыта, и соображения. Надо было, строя планеры, делать расчеты на прочность, надо было обладать знаниями, которые мы получали не на первом, а на третьем курсе. И мы уже не только строили, но испытывали наши планеры, ездили в Крым, там на них летали настоящие летчики, а мы смотрели и мотали себе на ус, как говорится.

Традиционным местом для испытаний планеров — а первые Всесоюзные испытания состоялись в двадцать втором году — был Коктебель, где есть подходящие холмы, с которых можно планировать; туда съезжались и конструкторы, и летчики, и планисты, и целый месяц длился этот радостный цирк. Планеры отправлялись независимо от нас, а мы ехали в поезде, на третьей полке. В Коктебеле существовали в то время «дача Юнга» и «дача Адриано»; «Адриано» — более шикарная дача, и мне не оказали чести там останавливаться, а на «даче Юнга» я получал койку и был счастлив. Курортный сезон практически уже кончался, в сентябре—октябре становилось холодновато, но мы купались утром и вечером. Народу на пляже собиралось совсем немного, кроме того, мы приходили туда в то время, когда пляжники уже уходили, а все дневное время мы проводили в горах. Особенно интересно было купаться вечером, потому что вода светилась и переливалась от движения огоньками, плывешь, как в пламени; сначала мне это казалось странным, а потом я привык, узнав о природе этого свечения — морских микроорганизмах.

Пили вино, местное, кислое, на массандровские вина денег, разумеется, у нас не хватало. И питались очень скромно в обычной столовой. Жили мы на свой счет, командировочные если и отпускались, кажется Осовиахимом, то мизерные, но я укладывался в бюджет, семью — мать и сестру — не обирал. Не мог же я просить на подобные поездки семейные деньги, которые мать зарабатывала с таким трудом.

Не имея образования, мать после смерти отца пошла работать на низкооплачиваемую должность в аналитическую лабораторию знаменитой ленинградской обкомовской больницы имени Свердлова. Оклад был смехотворный, но работать приходилось ради получения продовольственных карточек. А чтобы наше питание было более нормальным, она еще после работы бегала давать уроки, учила всяких оболтусов немецкому языку.

Ей было трудно, уставала она ужасно, вытаскивая нас, только ей мы с сестрой должны быть благодарны за то, что получили образование и встали на ноги. Самое ужасное, что потом она мне со смехом рассказывала, как у нее учились ребята, грубо говоря, из моего класса, и, когда в школе задавали сочинение на тему, скажем, Вильгельм Телль, ей приходилось трем ученикам из одного класса писать три разных — разных! — сочинения на эту тему. Три разных Вильгельма Телля! Чтобы никто не смог сказать, что они друг у друга списывают. Тогда мне казалось, что все это пустяки, я многого не понимал, но когда понял. . . Поэтому никогда и никаких семейных денег я не тратил. Это исключалось.

Строительство планеров и их испытания привели к тому, что я опубликовал свою первую статью «Продольная устойчивость бесхвостых самолетов», которую можно считать «научной», — сейчас это слово беру в кавычки, но тогда считал, что она не совсем в кавычках. Опубликовал ее в московском журнале «Самолет», хорошем журнале, не сугубо техническом, а для более широкого круга читателей, но в то же время и не совсем элементарном, не для школьников, не для бабушек. В серьезном журнале. Я долго не мог понять, как могут летать бесхвостые самолеты: хвоста, то есть стабилизатора, нет, как же они не перевернутся, не грохнутся? И когда понял, то пришел в бешеный восторг и написал эту самую первую мою статью.

Студенты второго курса никогда ничего не пишут, и я думаю: зачем мне это понадобилось, ведь то, что я написал, было известно, ничего нового я не открыл. Правда, все это было известно в кругах иностранных, но на русском же языке это не было опубликовано. Я написал две элементарные статьи без применения высшей математики, и тогда они оказались единственными на русском языке по избранной мною теме. Коллектив ученых, который издавал учебники для авиационных институтов, и очень хороший ученый В. С. Пышнов, сейчас уже, к сожалению, покойный, он старше меня поколением, в своей книге об устойчивости самолетов указал: «Смотри статью такого-то». Я был горд! Попал в учебник, и не просто попал, а на меня, на мою работу ссылаются! И кто — тогдашний корифей по этой проблеме.

Мне не было двадцати, а в институтах тогда учились по пять-шесть лет. Учился, скажу без ложной скромности, неплохо, первые два семестра закончил на все пятерки, и мне вручили именные часы: «Отличнику учебы такому-то. . .», часы, которые носят в кармашке, по тем временам большую ценность. Какое-то время я их носил, а потом перестал, сейчас они где-то у нас хранятся. Но тогда, в тридцатые годы, это было целое событие.

Года за полтора до окончания института я понял, что в Ленинграде мне оставаться бессмысленно, там нет авиационной промышленности, работать мне будет негде, что тогда делать? И я поэтому подался в Москву, не кончив института, но для того, чтобы его окончание сделать возможным, я за декабрь–январь тридцать шестого — тридцать седьмого года сдал предстоящий курс. Пошел к начальству и написал рапорт с просьбой отчислить меня по семейным обстоятельствам, в связи с отъездом в Москву, но допустить сдавать экзамены экстерном, чтобы окончить образование; мне разрешили, я, договорившись с преподавателями, сдал все вперед и уехал в Москву, не защитив дипломного проекта. Тогда брали на работу, даже на инженерные должности, с незаконченным высшим образованием. Найдя должность в Москве, я одновременно делал дипломный проект. Через год вернулся в Ленинград и защитился вместе со своей группой, получив диплом об окон-

чании института.

Конечно, Ленинград был и остается моим родным городом, но я знал, что уеду, потому что ни судостроение, ни морская промышленность, отрасли, которые преобладали в Ленинграде, меня не интересовали. Ясно было, что надо драпать. Даже если бы я и нашел в родном городе работу по специальности, то скучную, нудную, второстепенную. И я правильно сделал, что уехал, — если бы остался, то не встретил бы Веру Михайловну, мой драгоценный камень. Кроме того, в Ленинграде меня обязательно бы посадили, потому что там меня все знали, в тридцать седьмом многих сажали, почему бы и меня, немца, не посадить? А в Москве меня никто не знал, некому было писать доносы, потому что я только что приехал, в начале тридцать седьмого года. Растворился и исчез.

Это сейчас я могу так все анализировать и объяснять, а тогда совершенно об этом не думал. И только сегодня, оглядываясь с вершины моих лет на жизнь, зная, как дальше пошли события в Ленинграде, считаю, что мне просто повезло или Высшие силы позаботились обо мне и отправили в Москву, чтобы меня в тот раз не схватили с моей национальностью, с моей выразительной фамилией: немец, да еще проник в авиационную промышленность! Конечно, с целью вредительства — не иначе. Должность, которую я занимал в Москве, должность простого инженера, никого не волновала, меня никто не хотел спихнуть с этого места. Московский доносчик, может быть, писал на всех, но не на меня, потому что меня не знал, а ленинградский доносчик, который мог бы написать, меня не видел, я уже исчез из его поля зрения, зачем ему было писать на меня, когда там были другие?

Я думаю, мне тогда крупно повезло. Какая-то Высшая сила меня заботливо опекает. Причем я уже заметил, что когда на меня обрушиваются крупные несчастья, то потом обнаруживается, что если бы этого не случилось, дело обернулось бы еще хуже. Так повторялось несколько раз в моей жизни, поэтому я отношусь философски к тому, что со мной случается, и думаю: наверное, все к лучшему, если не это, было бы что-нибудь еще похуже. Опыт по этой части у меня есть. Когда жизнь больно меня ударила и я был уже на краю, потом оказывалось, что — слава Богу! Иначе было бы много страшнее — так и так, и вот так... Я считаю, что забочусь о своем любимом мишке, моей драгоценной детской игрушке, подаренной мне на крестины, а кто-то так же заботится обо мне.

Да, так вот еще в довольно юном возрасте я понял, что мне надо уехать из Ленинграда — хотелось мне этого или не хотелось, не важно. Надо ехать! Не всегда я руководствовался в жизни этим побуждением — надо! Не всегда. Иногда руководствовался, но чаще никак не поступал, меня что-то само несет по жизни, и я не сопротивляюсь. Но из Ленинграда я уехал совершенно сознательно. Была цель — работать по своей профессии. Даже не цель, я просто всегда знал, что окончу школу, пойду в институт, институт будет иметь отношение к авиации, потом начну работать в каком-нибудь конструкторском бюро. Примерная «схема» жизни у меня была, и частично она состоялась. Но жизнь много сложнее, чем мы ее представляем. Считаю, что после института, я буду работать в КБ, строить самолеты и так далее, я не учитывал многих ответвлений. Получилось по-другому, и я думаю, даже лучше получилось. Интереснее, скажем так, а не лучше. Я — редкий человек, который осуществил свою детскую мечту — заниматься Космосом, воплотил ее в жизнь. И действительно занимался Космосом и продолжаю

им заниматься. Это у меня идет изначально.

Но вообще я экземпляр крайне малоинициативный, и в молодости, и сейчас. Сижу вот, а все должно происходить само по себе. Меня волочит по жизни некий призрак, сам я не рыпаюсь. Есть люди, которые все время дергаются, пытаются действовать, давить, я же как раз ничего не пытаюсь делать, сижу и смотрю. Жду, когда какой-нибудь призрак схватит меня «за волоса». По-моему, это перевод из Киплинга, правда, слабый:

«На Бейкер-сквере Томлинсон скончался в два часа,
Явился призрак и схватил его за волоса,
Схватил его за волоса, чтоб далеко нести,
И он услышал шум воды, шум Млечного пути».

Дальше история заключается в том, что призрак приволакивает Томлинсона в рай, и Святой Петр его спрашивает: ну, давай вспомни, что ты хорошего сделал? Тот ничего не может вспомнить, и Петр говорит, нет, я тебя в рай не пущу. Тогда призрак поволок его в ад, там черт его спрашивает, ну, давай, рассказывай, —

«... и начал Томлинсон рассказ
Про скверные дела».

А ничего особенно худого у него, оказывается, за душой нет. Черт ему говорит: с таким бараклом мы не берем в ад. Забыл, чем там дело кончилось, но в общем Томлинсон — ни туда, ни сюда. Ни в рай его не взяли, ни в ад.

Вот и я, человек пассивный, всегда жду, когда меня «поволокут за волоса». В качестве такого «призрака» выступил в тридцать седьмом году мой школьный приятель, я о нем уже упоминал, Савка Щедровицкий, он вечно что-то комбинировал, а я был примазавшийся, «примкнувший к ним Шепилов». В качестве «Шепилова» и попал в Москву. Поехал-то туда Савка, а меня прицепили к нему. Он знал, куда едет, знал, что остановится у Софьи Михайловны, сестры Свердлова, за которой Савкин отец в юности ухаживал, у Софьи Михайловны есть квартира, она готова сдать комнату и так далее. Все было наперед известно и очень хорошо складывалось.

Моя мама вела себя, как всегда, очень умно, она вообще никогда ничего мне не советовала и ничего не запрещала. Делай как хочешь. Не помню, чтобы в семье происходило и какое-то обсуждение моего отъезда в столицу. Просто собрался и поехал, а маме сказал: «Савка едет, и я с ним». Ну, хорошо, поезжай...

Остановились мы в Москве в Успенском переулке. Если вы идете мимо Лейкома к Садовому кольцу, то первый переулок направо — Успенский. Там, в центре столицы, году в двадцать четвертом—двадцать пятом какие-то нэпманы построили себе дом на четыре семьи с большим размахом, чего только душа ни пожелала, с мраморными ваннами. Вот как они свою жизнь устраивали! Так что нечего нам сейчас удивляться на наших «новых русских». Все уже было.

Потом, когда нэп кончился, всех выгнали, дом заняли партийные деятели, и эта квартира, в частности, досталась сестре Якова Свердлова. Прекрасный небольшой особняк, парадная из переулка, черный ход. Сейчас там какое-то посольство. Квартира располагалась на втором этаже, один

вход был прямо в кухню с лестницы, для прислуги, другой — господский. Первая комната из прихожей направо была наша, дальше шла еще одна большая комната с камином, смежной комнатой и вход в кухню, а за ней в ванную, за которой находилась небольшая комнатка. То есть по сути было три комнаты, потому что большая с камином считалась проходной. Свою мы снимали, а когда Софью Михайловну выселили (и не только из квартиры), то вторую дали какой-то многодетной семье — двенадцать детей! — а в третью, восемнадцать метров, вселили позже Веру Михайловну, мою будущую жену.

И вот мы с Савкой, два молодых оболтуса, поселились в Москве, в прекрасных апартаментах, Савка устроился в Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ), он заранее об этом договорился, имея что-то вроде направления, а у меня не было ничего. Я тоже хотел пойти в ЦАГИ, но там не оказалось вакантного места, сказали, ожидается месяца через два. Не так-то легко было и в те времена устроиться на работу.

Мне все это не очень понравилось — ждать долго и неизвестно, чем еще я там буду заниматься, то есть специальность-то была ясна, а конкретная область деятельности туманна. Но у меня оказалось много знакомых в Москве по планерным слетам в Крыму, они приняли участие в моей судьбе и посоветовали пойти к Королёву, которому как раз нужен человек, понимающий, что такое устойчивость полета. У меня к тому времени как раз появились в печати пустяковые статьи по устойчивости. Там я действительно написал пустяки, но это не важно, формально было видно, что я в этом разбираюсь. И Королёв меня взял, такая вот штука.

Сначала я встретился с его заместителем, Щетинковым, который и решал вопросы, брать или не брать на работу. Королёв этими вопросами не занимался. Щетинков пригласил меня домой, «прощупал», поговорили по работе, и он сказал: «Пожалуйста, приходите в институт». После этого меня оформили. Положили оклад — пятьсот пятьдесят рублей, по-моему, по тем временам очень мало. Цены за мою жизнь столько раз менялись, столько раз менялись деньги, что я уже не помню, что можно было купить на мой тогдашний оклад, помню только, что это была очень небольшая сумма, но во всяком случае ее хватало на еду. Жили мы в те годы с Савкой в складчину, коммунальной, у нас все считалось общим, но в принципе Савка был более обеспеченный, потому что отец у него, как я уже говорил, профессор, а у меня мать — кто? У Савки было все-таки тыловое обеспечение.

С Королёвым я раньше встречался на слетах в Крыму. Может быть, он меня и узнал, когда я пришел в Институт №3 (так тогда назывался институт, который располагался в Ховрине), в его отдел — а Королёв занимался крылатыми ракетами, — но положение у него было ерундовое — он всего-навсего заведовал отделом, состоящим, когда я там появился, из него, его заместителя и четырех инженеров.

В Москве, кстати, жил еще один мой знакомый по слетам, Саша Борин, человек, безусловно, талантливый, который кончил всего лишь музыкальную школу, то есть не имел даже настоящего среднего образования, только специальное музыкальное, но работал инженером в ЦАГИ и писал статьи по аэродинамике, «открыл» некую теоретическую закономерность в планерном деле, а я, независимо от него, в Ленинграде, в это же примерно время «открыл» то же самое. Когда мы с ним встретились, он мне говорит: «А ты знаешь, что если $A = A$, то...» — и я подхватываю: «Знаю, это будет

Б — Б!» У него отвисла челюсть, и мы после этого стали с ним вечными друзьями. Иногда, помню, соберемся у него на Каланчевке, поставим бутылку сухого вина — водку мы не пили, — поговорим о том, о сем. Но я не очень с ним сблизился, потому что у него уже была компания, которая мне активно не нравилась. Считаю, что это была компания зазнавшихся типов, рассуждавших о литературе, о музыке, читавших с завываниями какие-то стихи, в основном свои. Один раз мы с Верой Михайловной посетили это сборище, и я понял, что больше никогда в жизни туда не пойду. Их потом всех пересадили, но не из-за того, что они завывали, а просто один в этой компании оказался профессиональным доносчиком и доложил, что они ведут антисоветские разговоры. Никаких антисоветских разговоров, конечно, не велось, наверное, кто-то из них мог ляпнуть, что, мол, бегал по магазинам два дня, хотел что-нибудь купить, но нигде достать невозможно, черт знает, что такое! Кроме того, стихи, которые они читали, были сугубо упадническими, что для того времени было совершенно противопоказано, а мы с Верой Михайловной — нормальные и здоровые молодые люди, нам все это как-то не нравилось, больше мы с ними не встречались, и, похоже, судьба опять меня уберегла.

Переехал я в Москву ранней весной тридцать седьмого года, а Вера Михайловна появилась в нашей квартире летом того же года, в день рождения моей мамы. Меня в тот момент дома не было, я встретил случайно на улице Савку, и он мне сообщил: «Слушай, там к нам приехали две Веры, и одна из них у нас останется, только я не понял, какая». Но он не описал, как выглядели Веры, одна из которых оказалась эпизодической, тогда нам с ним это было неинтересно.

История появления моей будущей жены достойна внимания. Она родилась на Украине, в Краматорске, приехала в Москву учиться, поступила в институт имени Губкина, жила у дяди, Якова Павловича Иванченко, который воспитывал её как родную дочь. Поскольку Яков Павлович занимал тогда довольно большой пост в металлургической и трубной промышленности Союза, ему дали казенную трехкомнатную квартиру на Петровке, в знаменитом доме, где во дворе был каток. Одну комнату занимала воспитанница Верининой тетки, гречанка-детдомовка Соня Мумжу, две другие были смежные, в них жила Вера. А когда ее дядя приезжал в Москву в командировки, то там останавливался.

Яков Павлович, совсем еще молодым человеком, в гражданскую войну воевал в отрядах командарма Августа Корка, после войны несколько месяцев был комендантом Киева. Потом его послали восстанавливать промышленность в Донбассе, Дружковский и Янакиевский металлургические заводы. Принимать объекты после их восстановления обычно приезжала комиссия во главе, например, с Ворошиловым, Косиором, Григорием Ивановичем Петровским, украинским «старостой», каким был Калинин в Москве. Позже Яков Павлович некоторое время работал в Харькове, потом Орджоникидзе, с которым он был близок, послал его на Урал возглавить трест «Востоксталь», включающий все крупные металлургические комбинаты: Свердловский, Висимский, Курганский, Тагильский, Магнитогорский, Челябинский. . . Вскоре после гибели Кирова его перебросили в Харьков, где был организован трест трубной промышленности Советского Союза — за граница тогда отказалась поставлять нам трубы и надо было быстро налаживать собственное производство. Для этой цели выписали иностранных

инженеров, они помогали строить заводы.

Когда Яков Павлович приехал в очередную командировку в Москву, уже после смерти Орджоникидзе, тяжелую промышленность страны возглавлял Межлаук, он вызывал Якова Павловича к себе с отчетом, и там, у Межлаука в кабинете, его арестовали 19 мая 1937 года. Он наивно полагал, что проглядел что-то в связи с приглашенными американскими специалистами, думал, в этом причина его ареста. Те, кого арестовывали в тридцать седьмом, — я имею в виду настоящих большевиков, бессребреников, у которых не было за душой ни вилл, ни дач, ни собственных квартир, — искренне думали, что их арестовывали не зря, что-то они упустили.

Дядю Веры Михайловны «судили» на Урале, то есть никакого суда не было, «тройки» не успевали прокрутить то количество дел, какое ложилось им на стол, поэтому каждый из них выносил приговоры по части дел, а потом они собирались вечером и, уже не глядя, подписывали: на деле требовалось три подписи. Родных известили, что Якову Павловичу дали десять лет без права переписки, а на самом деле его расстреляли. . .

19 мая, ночью, в квартиру на Петровке, где жила моя будущая жена, пришли с обыском: «Оружие есть?» — а ей было семнадцать лет. Конечно, ничего не нашли, комнаты опечатали, велели взять постельное белье, личные вещи, книги и выселили в ванную комнату. Что было делать? Она жила в ванной, занималась на кухне, потому что Соня Мумжу свою комнату сразу же закрыла на замок и сказала, что никакого отношения к семье арестованного не имеет.

17 июня за Верой приехал какой-то эмведешник на грузовой машине, распечатал комнаты, сказал, что заберет мебель и все вещи, и спросил, куда ее везти? А ей некуда было ехать — родных в Москве нет, знакомые боялись с ней общаться. Эмведешник, видимо, с кем-то посоветовался из высшего руководства и перевез ее с вещами в Успенский переулок, к нам в квартиру, где одна комната тоже стояла запечатанной, после того как Софью Михайловну выслали. Распечатали комнату, свалили туда вещи: вот, мол, пожалуйста, живите здесь, если хотите, выходите замуж, прописывайте мужа, мы ничего против не имеем, ничего не запрещаем. После этого появился Савка, который сообщил моей будущей супруге, что ухаживать за ней не собирается, он женат, а вот придет Борька (это я, значит!), он будет за вами ухаживать. Вечером пришел «Борька», мы собрали новой соседке всю мебель, поставили, как полагается, и зажили вместе.

В комнатке для прислуги обреталась еще некая тетя Катя, бывшая домработница Софьи Михайловны. Когда ту выслали, тетя Катя стала кормить нас, двух охломонов, мы давали ей деньги на готовку. А у Веры Михайловны денег не было, ей платили половину стипендии, потому что она была не из рабочих. Мама ей как-то исхитрилась присылать пятьдесят рублей в месяц, и у Веры получалось всего сто двадцать. Надо было платить за квартиру, за проезд в институт, в общем, на жизнь оставалось два рубля в день. Она покупала на рубль семьдесят пять сто граммов брауншвейгской колбасы и булочку за тридцать копеек — это был ее дневной рацион. Вернуться на Украину к матери с отчимом Вера не могла из-за своей щепетильности: как это она сядет им на шею!

А у нас тогда уже сложилась компания веселых молодых ребят — Марк Галлай, трепло невероятное, Димка Андреев, ему под стать, о Савке я уже рассказывал, — мы были не пьяницы, умели вести себя пристойно, любили

свое дело, свою профессию. Когда получали деньги, ходили в концерты, в кино. По воскресеньям тетя Катя пекла нам пирог с капустой, и тогда мы пытались вытащить Веру Михайловну на пирог. Она запиралась от нас на ключ — такое вот чувство гордости: как же это ее будут подкармливать! Очень редко она соглашалась на наш пирог с капустой.

С третьего курса института Губкина Вера Михайловна ушла и поступила на исторический факультет университета. У нее были свои друзья, у меня — свои, мы долго присматривались друг к другу. Но раз уж ее мне привезли прямо на машине, с вещами, и я как бы расписался в получении, то куда деваться? Короче говоря, в сорок первом году, 24 мая, за месяц до войны, мы поженились. С жилплощади нас никто не выгонял, тогда существовала такая пролетарская точка зрения, что каждому полагается жилье — и все тут! Ну а, кроме того, к Савке переехала жена, я вообще оказался лишним в той комнате, все это как-то способствовало нашей женитьбе, хотя я не говорю, что не проявлял никакой активности или что ее не проявляла Вера Михайловна — ведь женятся всегда двое.

На свадьбу приехала моя мать, пошла с нами в ЗАГС, посмотреть, «как это сейчас делается», и только качала головой, потому что не было ни церкви, ни богослужения, ничего. Сама-то она венчалась до революции, тогда брак подтверждался только церковными документами, поэтому ей было, конечно, дико видеть все то, что так хорошо описано Ильфом и Петровым в «Двенадцати стульях», и у нас все происходило именно так: сидел какой-то «Ипполит Матвеевич», что-то записывал в свой паршивенький гроссбух в маленькой паршивенькой комнатке, где, кроме нас, «венчалась» еще одна пара. И мы по очереди заходили, расписывались в какой-то книге. . . Этот дом находился на углу Дмитровки и Садового кольца, сейчас он снесен, а нам на всю жизнь запомнилась его старая деревянная лестница, скрипучая и воючая. Забавно было. . .

В ЗАГСе спросили, какую фамилию хочет взять моя невеста, она, конечно, хотела оставить свою, нормальную украинскую фамилию Иванченко, с такой фамилией она жила бы спокойно. Но мама, Леонтина Фридриховна, настояла — и совершенно правильно! — никаких Иванченко. И я тоже настоял, чтобы Вера Михайловна взяла мою фамилию — Раушенбах.

Потом мы устроили что-то вроде праздника: стол, ближайшие родственники и знакомые, ну, во-первых, две приехавшие мамы, а во-вторых, по тем временам близкие приятели. Май в том году выдался холодный, очень холодная была весна в сорок первом году, и Верина мама привезла с Украины большую охапку ландышей. На Украине в такое время должна уже распуститься сирень, но успели расцвести только ландыши.

Невесте надеть было нечего, накануне свадьбы мы наскребли все, что у нас было, пошли в комиссионку, купили ей крепдешиновое платье сероголубого цвета, почему-то без пояска, и поясок Вера надела свой, металлическую змейку. А жених облачился в свой единственный пресловутый костюм, больше ничего у него не имелось. Роскошь, которую мы себе позволили, и это был мой каприз, если так можно выразиться, чтобы на свадьбе не было ни одной бутылки водки — только шампанское. Зато был стиль! Пригласителям, которых мы приглашали, я говорил: никаких подарков не несите, если хотите, принесите по бутылке шампанского. И все принесли шампанское.

Мама подарила Вере Михайловне кольцо, вернее, сэт — брошь с сапфи-

ром и кольцо с бриллиантом. Раньше это было массивное кольцо, в центре сапфир и два бриллиантика по бокам, но сапфир потерялся, осталась дырка, и мама решила из одного массивного кольца сделать два — Вере и Каре. Одно кольцо невестке, другое — дочке. Если честно, то мама и настояла на том, чтобы мы поженились, сказала: «Давайте, кончайте этот базар», то есть все спровоцировала, ускорила. . .

Когда я и Карин кончили институты, то скинулись и на свои первые заработанные деньги купили маме путевку на Кавказ. Она там никогда в жизни не бывала, да и вообще нигде не бывала, страшно этим гордилась, была очень довольна. Проезжая как раз через Москву, это случилось еще задолго до нашей свадьбы, она привезла всем трогательные безделушечки из самшита — тогда-то и познакомилась с Верой Михайловной.

Если сегодня оглянуться на нашу совместную жизнь, то, с моей точки зрения, она получилась на редкость удачной: мы не развелись, у нас прекрасные дети, внуки, мы с женой попадали в разные тяжелые передрыги, она меня не бросила — отличная жизнь. Я как-то не задумывался на эту тему, тем более в молодости, но недавно в одном учреждении некая дама, которая вносила куда-то все мои данные, с удивлением спросила: «Как, у вас все еще первая жена?!» И я ей ответил: «Да, одна жена всю мою жизнь, никогда не разводился и не собираюсь».

Итак, мы поженились; Вера Михайловна работала уже в Историческом музее, в разделе первобытно-общинного строя, и в связи с этим не могу не вспомнить забавную историю, как мы с Володькой Штоколовым, нашим теперь уже покойным другом, собрались зайти к ней в музей, и Володька сказал: «Пойду посмотреть в музей, как из человека скотину сделали». Мы очень много шутили по этому поводу. Это было буквально перед самой войной, Королёва посадили, а мне, как молодому специалисту, дали другое направление. Тогда ведь как все происходило: сам ты ничего не решаешь, особенно в этой области, за тебя все решают начальники. Другой начальник — другое направление в работе. После «посадки» Королёва, а случилось это в тридцать восьмом году, меня перевели на двигатели, и я занялся проблемой вибрационного горения, то есть колебаниями при горении, работал с Евгением Сергеевичем Щегинковым, заместителем Королёва, который сыграл немаловажную роль в моей жизни. Он был очень хороший человек, умница большая и совершенно потрясающей скромности. Щегинков дружил с Королёвым и даже женился на его первой жене, когда Сергей Павлович с ней развелся. К сожалению, у Евгения Сергеевича обнаружилась перед войной открытая форма туберкулеза, его все время отправляли подлечиться в Грузию, в Абастумани, и туда через меня ему передавалась работа, которую он делал, а потом возвращал обратно. Когда началась война, наш институт эвакуировали в Свердловск, Евгению Сергеевичу нужно было ехать с нами, и его мать и отец прощались с ним навсегда, понимая, что в такой стадии туберкулеза он на Урале не выживет, они его больше никогда не увидят.

И мы уехали в эвакуацию, в Свердловск.

Глава 3

Добрались до Свердловска в ноябре сорок первого года. Туда было эвакуировано все наше номерное предприятие, под которое нам отдали один из корпусов Уральского индустриального института — сейчас он называется Уральским техническим университетом. Студенческие занятия в нем, соответственно, прикрыли.

Евгению Сергеевичу Щетинкову как тяжело больному выделили даже в условиях эвакуации отдельную комнату — с открытой формой туберкулеза иначе нельзя, — а нас с семьей Михаила Клавдиевича Тихонравова, моего коллеги, с его женой, тещей и сестрой тещи, поселили в одной комнате. Их было четверо и нас двое. Мы натянули вдоль комнаты веревочку, повесили скатерть, и таким образом наша семья «отделялась» от их семьи.

С Михаилом Клавдиевичем Тихонравовым я познакомился задолго до войны на планерных ах, еще студентом. Потом уже в Москве, мы с ним вместе работали, не сказать, что дружили, потому что у нас разница в возрасте была десять лет; когда тебе двадцать пять, а ему тридцать пять, это уже не дружба, а что-то другое. Пятьдесят лет и шестьдесят лет — один возраст, а тогда он мне казался каким-то очень взрослым, поэтому дружба у нас была не приятельская, а семьями. Продолжалась она и после войны, после эвакуации, но теперь нет в живых ни Михаила Клавдиевича, ни его жены, осталась дочь, с которой мы еще поддерживаем связь.

Дом в Свердловске был добротный, располагался в центре города. Не помню, на каком этаже нас разместили, третьем или четвертом, помню только, что у дома была некая особенность — его построили без кухонь, потому что рядом проектировалась фабрика-кухня, где все будут питаться, а в доме — только жить, значит, достаточно коридора и комнат, так называемой коридорной системы. Но оказалось, что кухня все-таки нужна, выгородили какое-то помещение, кое-как его приспособив для готовки пищи, но помещение это было одно на весь длинный коридор. Пришлось нам с Михаилом Клавдиевичем раздобыть кирпич, выдолбить в нем желобок и поместить туда нагревательную спираль — соорудить «плитку», потому что нашим женщинам попасть на кухню практически было невозможно, очередь занимали с вечера. Хозяйство мы вели вместе с Тихонравовыми, женщины оставались дома, а мы уходили на работу.

К войне наша работа имела косвенное отношение, я подразумеваю ту ее часть, которой занимался сам и те, кто находились рядом; а были подразделения, которые впрямую занимались делом, связанным с нуждами войны, с военными проблемами. Я трудился в полную силу до марта сорок второ-

го года, когда получил повестку, предписывавшую мне явиться с вещами туда-то, в военкомат, а далее на пересыльный пункт, где собирались все, вызванные повестками.

Я ни о чем не подозревал, полагая, что меня посылают в армию, собрал вещички и пришел по указанному адресу. Через несколько дней после сборов нас посадили в поезд типа электрички, в классный вагон, с нами ехал один сопровождающий, то есть внешне все выглядело нормально. Ехали часа два, преодолели небольшое расстояние Свердловск-Тагил. В Нижнем Тагиле нас высадили, на грузовике привезли в зону и — все. Ничего не объявили, зачем объявлять. Сказали: вы будете жить тут, и больше ничего — подумаешь принцы крови приехали, чтобы им еще что-то объявлять и объявлять! Статьи-то никакой не было, по которой нас сажали. Статьи нет, ничего нет. Немцы.

Уже в Свердловске мы кое о чем начали догадываться. Когда я явился с вещичками, то в толпе увидел профессора Московского университета Отто Николаевича Бадера, и жена, которая меня провожала в армию, сказала: «Вот, обрати внимание, Бадер страшный лопух, и если ты ему не сможешь там, куда вы едете, он неминуемо погибнет. . . » Она все поняла!

Собственно, там и понимать было нечего, вокруг нас стояли немцы, одни немцы, все стало ясно. Было много немцев-крестьян с Поволжья, полуграмотных тружеников, была интеллигентная публика: Лой, директор Днепропетровского завода, профессор-химик Стромберг, берлинец Павел Эмильевич Риккерт, защитивший в Берлинском университете докторскую диссертацию, коммунист, голову которого в фашистской Германии оценили очень дорого, и ему пришлось оттуда удрать. Его окольными путями, через разные другие страны перебросили в Советский Союз и в конце концов посадили. Сначала в тюрьму, но в отличие от наших посаженных, все пытавшихся найти свою вину — наверное, что-то недоглядели, в чем-то сами виноваты, — у Пауля такой комплекс отсутствовал, он не считал себя виноватым, стучал кулаками и орал: все предатели! Потому что именно он был настоящим коммунистом. Потом его судили, как он выражался, «оформили» — Пауль провел в тюрьме около трех лет под следствием — и дали три года лагеря, чтобы «узаконить» этот срок, а фактически выпустили. Он женился на местной уроженке, Наде, которая была до него замужем за немцем-специалистом, приглашенным из Германии для налаживания какой-то важной работы и тут же посаженным. В заключении он познакомился с Паулем и сказал ему: «У меня срок — десять лет, а ты скоро выходишь, вот тебе адрес моей жены, поезжай к ней и все расскажи, потому что вряд ли я выйду на свободу». Пауль встретился с Надей, влюбился в нее и остался. Очень хорошая, уникальная была пара: она его покормит какой-нибудь баландой, он поест, встанет, поцелует ей ручку и скажет: «Наденька, спасибо, все так замечательно, так вкусно. . . » Если подробнее рассказывать о Пауле, то получилась бы целая книга. Он был урожденным берлинцем, из семьи небогатых мелких служащих. Кончил в Берлине школу, университет и даже поступил, как бы у нас выразились, в аспирантуру, более того, успел защитить диссертацию. Поэтому был доктором Берлинского университета, не в смысле того, что там работал, а что именно там получил ученую степень. В Германии, всюду за границей понятие «доктор» — общее понятие, важно, какое именно учебное заведение присвоило эту степень. Например, все знали — не сейчас, конечно, а в довоенное время, — что доктор Берлин-

ского университета — это ого-го! А доктор Ростовского университета ничего не значит, потому что эту степень можно получить за деньги: если внести какой-нибудь крупный вклад в университет, то он в благодарность давал степень доктора. Ну, формальная защита, может быть, и была, но все это выглядело мелковато.

Пауль был доктором Берлинского университета, химиком, со студенческих времен коммунистом. Когда фашисты фактически пришли к власти, он уже целый год находился на подпольной работе, поскольку коммунистическая партия в Германии перешла на нелегальное положение. Стало ясно, что в Германии на его след напали, вот-вот арестуют, и Пауль по решению Коминтерна перебрался в Москву. На вопрос: где он хочет работать? — Пауль, страстный минералог, сохранивший свою страсть до самой смерти, — собирал камни, где только мог, и жизни без них не мыслил, — сказал, что только на Урале, там рай для минералога. Его устроили на химический завод под Свердловском, так как он был химиком, и таким образом он и попал на Урал.

Я узнал его уже под именем Павла-Пауля Риккерта, которое ему дали в целях конспирации, чтобы не навести на его след немецкую разведку. Под этим именем он и жил, и сидел, это имя значилось в его документах, под этим именем родились и жили его дети и живут до сих пор. А так как у нас приняты отчества, то он стал Павлом Эмильевичем.

Когда мы встретились в лагере, я его сразу приметил, хотя ничего особенного с виду в нем не было — высокий, худощавый, в очках. Он был чуть старше меня, года на два-три, пожалуй. Одно поколение. Когда человек взрослый, это уже не играет роли, разница в возрасте мешает только в детстве и ранней молодости. В лагере ведь как — встречаешься, разговариваешь с одним, другим, третьим, с кем-то находишь нечто общее и объединяешься. Его забрали прямо с завода, где он работал, сначала посадили в тюрьму, как я уже сказал, а потом отправили в лагерь, где он попал в отдел технического контроля.

Мы сразу договорились с Паулем, что будем разговаривать только по-немецки: нас посадили за то, что мы немцы, значит, у нас есть на это моральное право. Кроме того, мне очень хотелось по-настоящему освоить немецкий язык. То есть я говорил по-немецки, но это был «кухонный» язык, на котором я общался с матерью: о супе, о картошке, о том, куда пойду после школы. А ведь язык — это еще и литература, и искусство, наука и все прочее, вот этого-то языка я и не знал. И научился ему у Пауля Риккерта. Это оказалось интересно и не очень трудно, я ведь уже свободно говорил, а в процессе нашего с ним общения сами собой заучивались новые слова и обороты, тогда я не был таким древним стариком, запоминал все легко, мне практически ничего не надо было повторять.

В общем, мы говорили с ним только по-немецки, мне это доставляло удовольствие, ему было безразлично, поскольку то был его язык, и я заговорил на настоящем deutsch — не совершенном, но сносном, скажем так. Приезжая в Германию, в ту же Баварию, я абсолютно естественно вхожу в сферу немецкого языка, без усилий, хотя прошло уже больше пятидесяти лет, как мы с Паулем болтали в лагере — раньше я говорил лучше, чем теперь. Наверное, делаю какие-то мелкие ошибки, а кроме того, мое немецкое произношение не такое, как в Германии, где каждая область имеет свой «говор» — саксонский, тюрингский и так далее. Подобно тому, как у нас на

Волге «окают», а в Петербурге «акают»... Мы с Паулем говорили на классическом немецком, и все интеллигентные люди в Германии говорят на нем, языке, которого в стране по сути нет. Потому что в германских землях — в Саксонии, в Баварии и других — имеются свои наречия, варианты языка. А общенемецкий язык — это язык лютеровской Библии, язык немецкой литературы, которая свидетельствует, что общенемецкий язык существует, но ни один народ в стране на нем не говорит, говорят на наречиях, есть и писатели, пишущие на народных языках. Мне очень странно их читать, потому что я половины не понимаю, столько всего введено в литературную ткань из языкового наречия.

Я говорю на языке восточных немцев, с их произношением, и это многих сбивает с толку. Одна дама, например, никак не могла понять, откуда я — из Баварии, из Саксонии? На каком языке я говорю? Я ей ответил, что на вымершем балтийском немецком языке, потому что он действительно вымер. Раньше в Таллине (Ревеле), в Риге жило много немцев, жили они в Калининграде (Кенигсберге) и говорили на своем языке, на каком говорю и я, это совершенно естественно, потому что моя мать родом с Сааремаа, из Эстонии. Потом балтийские немцы мигрировали, а я продолжаю говорить, как говорят старики, которые в молодости жили в Прибалтике. И эта дама отметила: «Вы говорите свободно, без ошибок, а ваше произношение очень приятное, как у моей бабушки. Откуда ваша бабушка?» — «Из Риги». — «А-а, все понятно».

В моем языке есть балтийский заряд, которого сейчас в немецком нет, а раньше этот язык жил, его преподавали в школах, я еще застал те времена, времена буржуазной Эстонии, когда люди говорили по-немецки, но в балтийском варианте. Он полностью совпадает с классическим немецким, отличаясь только произношением. У немцев, переселившихся из Прибалтики в Германию, произношение уже не балтийское. Но я не считаю нужным подделываться под берлинцев и продолжаю говорить по-балтийски. И лекции в свой последний приезд в Баварию читал по-балтийски, и не было никаких недоразумений, просто немцы чувствовали, что я говорю на настоящем немецком языке, но произношение у меня не баварское.

Дружба с Паулем у нас сохранилась и после того, как мы расстались со своими решетками, дружили семьями. Пауль умер примерно десять лет назад, у него остались три сына, один уехал в Ростов-на-Дону, а два других живут в Нижнем Тагиле, на Урале. Тот, который живет в Ростове, работает по инженерной части, инженером стал и один из сыновей, оставшихся в Нижнем Тагиле, а третий — следователь в милиции, проще говоря, в угрозыске. Ловит фальшивомонетчиков...

Вообще со времен отсидки отношения со мной поддерживает только Армии Генрихович Стромберг, живущий в Томске и профессорствующий в области химии, мы с ним время от времени переписываемся. По-прежнему живет в Тагиле художник Дитергефт, не помню его имени-отчества; его выслали туда, как и меня в свое время, он прижился, рисует Тагил и его окрестности, нашел себя как художник. Недавно там состоялась его персональная выставка. В Тагиле работает врачом мой солагерник Рунг, причем в больнице для сверхвысокого местного начальства, думаю, он сейчас уже на пенсии, если вообще жив. Кстати, мы ездили как-то с Бадером в Нижний Тагил, я, «прицепившись» к Вере Михайловне, которая туда отправилась на археологическую конференцию. Моя супруга и работала на

Урале, вела раскопки, и диссертация у нее по Уралу, ее пригласили делать доклад, а я увязался за ней. Обычно мужья берут с собой жен, а тут жена взяла с собой мужа. Бадер там тоже много копал, искал древние стоянки, проводил большие археологические разведки, ему было интересно присутствовать на конференции, но главное заключалось все-таки не в этом: мы хотели посмотреть на те места, где просидели столько лет. И Рунг нам тогда дал машину, чтобы съездить в зону посмотреть, что же там осталось. . . У меня было ужасное впечатление, и я очень расстроился, потому что все бараки исчезли, их снесли за ненадобностью, сохранилась только высокая кирпичная будка с одним окном и одной дверью, которую мы в те времена почему-то прозвали башней царицы Тамары. Почему — неизвестно, но самое удивительное, что спустя многие годы, посетив эти места, мы узнали, что местные жители все равно зовут ту будку башней царицы Тамары! Как приклеилось, так и осталось.

А кирпичный завод по-прежнему действует, некоторые немцы по-прежнему работают при нем, хотя и жаловались, когда мы туда пришли с Бадером, что «свои», то есть немцы, которые трудились здесь раньше, разъехались, умерли, а они еще кормятся, но приходится иной раз доделывать работу и за русских, приехавших на место немцев. Немцы же по характеру люди обязательные, поэтому вкапывают и за себя, и «за того парня». Не зря в русском языке есть слово «сойдет», которого нет больше ни в одном языке, или непере译имое слово «авось» . . .

Два человека «из прошлого» приезжали к нам в Москву — Стромберг, растрогавший меня тем, что сказал: для группы интеллигенции, сидевшей тогда в лагере, был очень важен мой оптимизм, которым я поддерживал, подпитывал всех морально. То же говорил и Рис, ученый-машиностроитель, турбинщик, по характеру несколько меланхоличный, а иногда и паникер. Примечательно, что, уже будучи нездоровым и зная о своем нездоровье, он сказал: «Не дай Бог, когда я умру, на моей надгробной плите напишут — „Вольдемар Фридрихович Рис“!» Он до последнего момента своей жизни хотел оставаться русским, Владимиром Федоровичем. . .

Я слегка забежал вперед в моем повествовании — пока-то мы с Паулем Риккертом еще сидели вместе в лагере. И меня все время гвоздила мысль, что я не закончил работу, начатую в Институте №1. Никто от меня, естественно, ничего уже не ждал, но я для себя должен был её закончить, просто не мог иначе психологически. В сорок втором году я занимался расчетами движения самонаводящегося зенитного снаряда. Забрали меня, когда я уже выполнил две трети работы и знал, в каком направлении двигаться дальше. Мучился незавершенностью, места себе не находил. Делал расчеты и в пересыльном пункте на нарах, на обрывках бумаги, и в лагере. Решил задачу недели через две после прибытия в зону, решение получилось неожиданно изящным, мне самому понравилось. Написал я небольшой отчетик, приложил к решению и послал на свою бывшую фирму: ведь люди ждут! Мне, видите ли, неудобно было: работу начал, обещал закончить и не закончил. Послал, не думая, что из этого что-нибудь получится. Но в это дело вник один технический генерал, авиаконструктор Виктор Федорович Болховитинов, и договорился с НКВД, чтобы использовать меня как некую расчетную силу. И НКВД сдало меня ему в «аренду».

Меня уже не гоняли, как всех, на работу, кормили, правда, не лучше, даже хуже, потому что мои солагерники получали по месту работы всякие

премиальные блюда, а я не получал, сидя на самом низком уровне питания, без добавок. Пребывал я, как и все, в зоне, в бараке, единственная разница заключалась в том, что работал по заданию загадочных людей из министерства авиационной промышленности, как бы мы теперь сказали. Это меня в какой-то мере спасло, так как на кирпичном заводе я поработал только вначале — и мне еще повезло, что я не попал на лесоповал или на угольную шахту. Потом институт дал должность старшего инженера, чисто формально — ведь статьи на меня никакой не было, я считался посланным на «работы», «мобилизованным в трудармию», мне должны были платить зарплату, но на этом все и кончалось. Больше они ничего не могли сделать: ходатайствовали перед НКВД, чтобы я работал по их заданию; НКВД разрешил, я вкальвал на авиационную промышленность, но уже не работал на НКВД, и они перестали мне платить. Мизерную сумму мне платила авиационная промышленность, и какой-то процент с нее брал НКВД за сдачу меня в «аренду»: не бесплатно же НКВД сдавать меня на сторону! Но никаких льгот я не имел, у НКВД не было оснований поощрять меня, потому что, с их точки зрения, я работал на «чужого дядю». Какие же тут льготы? Нормальная ситуация. И я прозябал на самом низком уровне, который полагался ИТР. Когда итэраам повышали зарплату, повышали и мне, но персональных надбавок не получал никаких. Я очень скоро протянул бы ноги, если бы не разрешение Вере Михайловне приезжать ко мне. И довольно часто.

Знаю по ее рассказам, как она с Анной Дмитриевной, тещей Тихонравова, отправилась в деревню, выменяла на свои скудные тряпки продуктов, купила на рынке хлеба и с полным рюкзаком поехала ко мне. Поезд приходил в Тагил в четыре часа утра, и ей, практически ночью, нужно было переть до зоны пешком от станции еще четыре километра. И так она ездила систематически. А потом, когда я решил заниматься математикой, ей приходилось доставать мне нужные книги, кроме рюкзака, она тащила в зону еще чемодан книг и шла так: три-четыре шага — постоит, переведет дух, три-четыре шага — остановка. Потому что дотащить такую тяжесть женщине... Сами понимаете.

Таким образом наши жены нас подкармливали и поддерживали. Кроме Веры Михайловны, туда приезжала Надя, жена Пауля, приезжала жена Бадера, все они там перезнакомились и подружились. Общее горе особенно крепко соединяет людей.

Отступая несколько от темы, скажу, что отношение к власти, к существующему порядку в детстве у меня было, как у всех ребят, положительное: все правильно и хорошо делается, поэтому бурчание отца насчет того, что кругом одна бесхозяйственность, влетало в одно мое ухо и вылетало из другого. Меня это не интересовало, подумаешь, бесхозяйственность какая-то! Мне казалось, что все идет нормально, я был вполне законопослушным, не размышлял о государственном устройстве, о демократии и тому подобном. Меня по-настоящему увлекала только техника, только то, что летает, особенно в старших классах и в студенческом возрасте. Что я хотел, я получал — разные кружки, секции, в которых пропадал в свободное время. В газетах читал только раздел иностранных новостей, происходившее же в собственной стране само собой разумелось. А вот события в мире привлекали мое внимание, это не пленумы, не речи, не колхозные рапорты, не открытия заводов одного за другим. Грубо говоря, мне было наплевать на

все это, потому что оно было под боком, я его видел и как бы не придавал значения, во всяком случае, не оценивал по молодости лет. А за границей Абиссиния воюет, в Китае — гражданская война, и я «болел» за какого-то Го Сун Лина, китайского генерала. Он, видимо, был коммунист, положительно характеризовался нашими газетами, и я невольно принял его сторону, мне казалось, что он хороший человек.

Детекторный приемник я собрал только после двадцать пятого года. Мне было интересно, тогда ведь еще не существовали знаменитые «тарелки» из черного картона, которые висели на стене и вещали, поэтому радио слушали через наушники, причем у меня не хватило денег купить два, и я слушал одним ухом, а на втором находилась деревянная пластинка — это было не то!

Все, что происходило в стране, повторяю, я как бы принимал к сведению, мне, например, очень нравилось, что именно у нас совершили такой грандиозный беспосадочный перелет Чкалов, Байдуков и Беляков, я гордился своей принадлежностью к той же породе людей: вот мы такие! Но не больше. Не «вибрировал» я и тогда, когда папанинцы высадились на льдину — спасут, не спасут? Видимо, повлияло на меня чтение научно-фантастических романов, которые всегда хорошо кончаются, и я считал: в жизни все хорошо кончится, так оно и бывало — и на льдине спаслись, и всех вывезли, и чествовали героев.

Катастрофа со стратостатом «Осовиахим», на котором поднялись Усыскин, Федосеенко и Васенко в тридцать четвертом году, стала для меня неприятным ударом. Когда я прослушал доклад, сделанный на одной научной конференции, по разбору гибели стратостата, я, даже будучи студентом, понял, что при устройстве кабины было совершено несколько грубых конструкторских ошибок. Если бы конструкторы оказались поумнее, стратонавты могли бы спастись. Кабина не только плотно закрывалась, она еще и привинчивалась, условно говоря, двадцатью четырьмя болтами. Чтобы выйти, надо было отвернуть эти двадцать четыре гайки, а это полчаса времени. Как тут срочно выйдешь? Экипаж пытался. После трагедии обнаружили, что они сняли примерно треть этих гаечек, на остальное же времени не хватило. И я очень переживал — все, что касалось авиационной техники, меня живо интересовало, не то что политика.

Примерно то же происходило со мной, когда начались аресты. По молодости я пропускал это мимо себя, не отдавал себе в этом отчета. У меня сложилось представление, какое, наверное, было у многих: в общем все правильно, да, людей сажают и, очевидно, за дело, но каждый конкретный случай, о котором я знал, был неправильным. Очень странное душевное состояние — я просто не мог допустить мысли о бессмысленном массовом терроре. Я считал, что так и должно быть, потому что я другого не знал. Мне казалось, что действительно есть вредители, есть плохие люди, заговоры, но конкретный случай с арестом моего друга считал ошибкой, полагая, что в нем разберутся и его отпустят. . .

Не рассеялось это заблуждение и когда я сам попал в лагерь, поскольку был твердо убежден, что попал за дело. Ведь я немец и ни минуты не сомневался, что меня нужно изолировать, потому что шла война с Германией. Это только подтверждало мою мысль, что сажают правильно. Мне было неприятно, но я не считал это трагедией и популярно объяснял сокамерникам, что в Советском Союзе каждый приличный человек должен отсидеть

некоторое время, приводя соответствующие примеры. Моя мать не знала, что я за решеткой, для нее я находился в каком-то стройотряде, кстати, мы и назывались-то не тюрьмой, а стройотрядом, так и писал об этом маме на Алтай, где она жила в эвакуации с моей сестрой Карин. Но мало кто знал, что «стройотряды» снабжались после заключенных, хуже заключенных, и наши стройотрядовцы, попадавшие после совершения краж в маховую тюрьму, всегда приходили в восторг от того, как там хорошо живется!

Первое время в лагере мы ходили в своей одежде, но когда она «скончалась», то нам — смешно сказать! — выдали военную форму времен буржуазной Эстонии. Когда она стала советской, то ходить в этой форме уже было невозможно, и ее передали в НКВД донашивать заключенным, потому что одежда была хорошей, почти новой, только пуговицы на ней обтянули тканью. Однажды я обнаружил под материей металлических вычеканенных эстонских львов, то есть герб Эстонии. Наверное, я ходил в солдатском эстонском мундире, и единственное, что сделали паши, это замаскировали символику на пуговицах.

Дали, конечно, ватник и ватные брюки, ушанку и рукавицы какие-то, а валенки я выменял — была у нас такая торговля, некоторые заключенные, не наши лагерники, воровали валенки, и их можно было купить за несколько паек хлеба или еще какую-нибудь еду. Я собрал хлеба, ночью для меня «заказали» валенки те, кто встречался с заключенными на работе, и принесли мне. Конечно, я знал, что они краденые, но что делать, без валенок там невозможно, морозы сильные, да и ходить мне было уже не в чем. Мой отряд — около тысячи человек — за первый год потерял половину своего состава. В иной день умирало по десять человек. В самом начале попавшие в отряд жили под навесом без стен — а морозы на Северном Урале 30–40 градусов!

Со стороны лагерного начальства, всяких энкаведешников, ко мне не было никакой конкретной неприязни. Разговаривали и общались совершенно нормально — так полагалось и им, и мне, такое тогда существовало правило. Потом правила стали другими. Но в те времена я не испытывал никакой обиды за то, что меня посадили, я повторяю это не из кокетства какого-то, не притворяюсь. Это не значит, что я забыл, нет, не забыл, но по-прежнему считаю, что тогда иначе было нельзя. И в лагере надо мной даже подсмеивались, а некоторые негодовали, говоря, что мне надо не сидеть, а пропагандировать в пользу советской власти. Они были не правы, потому что я вовсе не режим защищал, а считал, что все идет правильно — плохо, но правильно. В этом была своя логика.

Не могу не вспомнить и об одном курьезном случае. Сидел вместе с нами, как я уже упоминал, очень интересный человек, ленинградец Владимир Федорович Рис, инженер-турбинщик. И во время «отсидки» он стал... лауреатом Сталинской премии! Группа инженеров — как его из нее не вывели, остается тайной, — за свою работу получила эту самую высокую в нашей стране премию, и он получил тоже вместе со всеми, потому что документы на награждение ушли раньше, чем его посадили. Потрясающий факт — человек сидит в зоне и получает звание лауреата Сталинской премии, потому что его уже нельзя вытащить из состава группы. Коллеги Риса этого и не хотели делать, потому что это было бы несправедливо. Вот что такое система! Мы очень смеялись по этому поводу в зоне, отчасти и потому, что его в скором времени выпустили, а мы-то остались сидеть. Коллектив, с

которым он работал на ленинградском заводе и который получил Сталинскую премию вместе с ним, оказался очень хорошим, на этом же заводе, как я понял, работала его жена, и они развили бурную деятельность по его освобождению, всячески за него хлопотали, тем более что он — лауреат!

Покойный Марк Галлай, известный летчик-испытатель и писатель, с которым мы дружили всю жизнь, со студенческих времен, публикуя рецензию на мою книгу «Пристрастие», вышедшую в девяносто седьмом году в московском издательстве «Аграф», написал, что друзья получали от меня из мест заключения прекрасные письма, полные бодрости и энтузиазма, «выдержанные отнюдь не в грустной тональности», и цитирует меня же: «Почти всегда нахожусь в хорошем настроении», «Воспользовавшись твоей теорией синусоидального характера везения в жизни, сообщаю, что как будто бы минимум синусоиды я уже прошел». . . Свидетельствую, что энтузиазм и бодрость были не наигранные, но, с другой стороны, как-то не в моем характере плакаться, и я иронизировал по поводу того, что со мной происходит. Это было естественно — шутливая форма общения, ну, может быть, своего рода психологическая защита. Хотя условия моей тогдашней жизни были нелегкими. Но жизнь есть жизнь, и даже в лагере можно кое-чего добиться, если очень сильно захотеть. Конечно, проще всего загнуться, но я не загнулся.

Будили нас утром часов в шесть–семь. В бараке стояли двухэтажные нары, топили хорошо, об этом мы позаботились сами. Большинство из нас работали на кирпичном заводе, куда для обжига доставляли коксик, очень ценный материал, и мы его экспроприировали, то есть просто брали и приносили с собой — топить-то чем-нибудь надо! Коксик прекрасно горел, у нас всегда было тепло.

В нашем помещении оказалось восемь человек. В основном уживались, баталий никаких не помню. Складывались естественные группы, то есть дружили не всей комнатой, а, скажем, разделились на две группы. Одна группа состояла из меня, Пауля Риккерта и Стромберга, вторая — из бывших военных, которых переслали в лагерь из армии, опять-таки по национальному признаку. Они тоже держались вместе, у них были общие интересы. Мы не воевали, не спорили, не ругались, а просто жили независимо друг от друга. У них — свои дела, у нас — свои.

У меня было нижнее место на нарах, у Пауля — верхнее; верхнее место имело преимущество, потому что, забираясь туда, ты как бы отсекался от остальных. Внизу дела обстояли хуже: если ты, скажем, лег спать, а обитатели барака если играть за стол в домино со стуком, то заснуть было нелегко.

Утром в столовой нас ждала баланда, давали и пайку хлеба, в зависимости от времени и нормы, но один раз в сутки, вечером и утром мы его не получали. Пайки хлеба для работающих физически — семьсот граммов, для не работающих физически — пятьсот. В зависимости от выполнения плана — до девятисот граммов. Можно было съесть все сразу, а потом сидеть до следующего вечера без хлеба, как большинство и делали, надеясь заглушить голод утренней баландой, после которой отправлялись на работу кто куда.

Начал я, как уже говорилось, на кирпичном заводе, и мне повезло: поставили не рабочим, а на технический контроль, то есть на такое место, которое считалось «служащим» и не было связано с тяжелой физической

работой. Я не имел дела непосредственно с производством кирпичей, но проверял их качество.

Вкалывали в три смены, контора работала только в дневную, а некоторые службы — круглосуточно, в зависимости от технологии. В свободное время после работы и вечерней баланды, занимались кто чем: читали газеты, вели всякие разговоры, но ничего необычного. К тому времени «сводочная» ситуация кончилась, и страна, и мы так сводок с фронта уже не ждали, как в первые дни войны. Фронт остановился, люди привыкли, что он существует, что на нем что-то происходит. Специально никаких разговоров по этому поводу не вели, ничего с азартом не обсуждали. Единственное, о чем говорили постоянно, — скорее бы война кончилась и нас отсюда выпустили.

Я сидел над книгами по математике, привезенными мне Верой Михайловной, очень много и упорно ее учил. Собственно, по-настоящему я выучил математику именно в лагере. В приличную погоду мы совершали вечерние прогулки в соответствующих местах и на соответствующие расстояния, а не там, где хотели.

Чувствовал я себя хорошо и физически, и морально, прекрасно спал, никаких отрицательных эмоций не испытывал: ах, я сижу, я в лагере. . . Были некоторые, кто этим терзался, — на мой взгляд, совершенно бесполезное дело.

В помещении стоял один стол на всех, за ним я трудился, пока остальные уходили на смену. Когда они возвращались, я освобождал стол, и за ним ели, играли в карты, домино, читали. Но мне хватало дневного времени на то, чтобы продуктивно работать, и я многое успевал сделать. Писал отчеты по разным темам, сразу по нескольким: одна работа была посвящена устойчивости полета, другая — испарению капель: что с ними происходит, когда топливо испаряется. Были и другие работы, но в основном я работал по этим каплям проклятым и по устойчивости полета.

Приезжала Вера Михайловна, утюгом обрабатывала всю одежду, потому что появились вши — не всегда, но был один вшивый период. Но вообще я не помню каких-то особых неприятностей, никто никому никаких пакостей не делал. Все старались относиться друг к другу как можно лучше, и лагерное начальство в том числе. А какой смысл был ухудшать наше положение? Им было важно, чтобы мы выполняли свои нормы или, если это касалось меня, делали свою научную работу. . .

Перечитываю сейчас страницы, написанные мною о лагере, и понимаю, что непосвященный человек может подумать: да у них там было вполне благополучное существование! Тепло, научная работа, вечерние прогулки, совершенствование немецкого языка. . . Радужные впечатления, одним словом. Но вот один хотя бы маленький штрих, информация к размышлению: приехала как-то Вера Михайловна с очередной порцией хлеба и книг, стоим мы с ней у окна барака, и она вдруг меня спрашивает: «Что это за бревна там грузят?» Я ей торопливо объясняю: «Ничего особенного, ты не смотри, не надо», надеясь, что ее близорукость не дала рассмотреть, что происходит на самом деле — в грузовик швыряли ежедневную «порцию» замерзших трупов. . . Мы-то уже как бы привыкли к этой процедуре, знали, что умерших отвозят в яму, недалеко от лагеря — зачем возить далеко, когда сразу за зоной начиналось поле (мы находились на краю города), там копали ямы, сбрасывали в них трупы, присыпали песочком, потом снова

бросали трупы, опять присыпали и через несколько слоев закапывали яму окончательно. Такие вот были «похороны».

Люди умирали от непосильной работы при очень скудной еде, есть давали чудовищно мало. Поэтому-то позже я и смотрел равнодушно на ужасающие фотографии в Бухенвальде — у нас в лагере происходило то же самое, такие же иссохшие скелеты бродили и падали замертво. Я был настолько худой, что под сильным порывом ветра валялся наземь, как былинка. Но поскольку все были невероятно тощие, это как-то не бросалось в глаза. Конечно, главной мыслью почти всегда оставалась мысль о еде. Пауль Риккерт любил говорить, что когда все кончится и он окажется на свободе, то попросит жену сварить таз макарон или лапши и съест их с сахаром! Такая вот мечта. Условная, потому что все мы понимали, что можем и не выжить, ведь солагерники мерли на наших глазах как мухи, мы это видели, но что могли поделать? Что могли этому ужасу противопоставить? Только духовность, только интеллектуальное свое существование, жизнь своей души.

С одной стороны, нам как бы было легче, потому что нас, интеллектуальную элиту лагеря, спохватившись, перестали гонять на тяжелые физические работы, мы не загружали сырой кирпич в печи для обжига, не вытаскивали его, не грузили; с другой стороны, мы были наделены даром предвидения и воображением, представляли себе будущее во всей его неприглядности, потому что перспективы виделись крайне безотрадные. Условно говоря, человек малоинтеллектуальный просто работает себе и работает в тяжелейших условиях; где можно отлынивает, увиливает, затаивается, как Иван Денисович у Солженицына: выжил один день, пайку лишнюю получил — и уже хорошо, слава Богу! В лагере находилось много крестьян из республики немцев Поволжья, они даже по-русски плохо говорили, потому что в этой республике к тому времени еще сохранились и немецкие обычаи, и немецкий язык. Сейчас-то они, кто уцелел, все говорят по-русски, потому что их расселили по разным областям, специально расселили, чтобы не оставить следа от немецкой культуры, в том числе и языковой. Подобная политика проводилась не только в отношении немцев, мы теперь хорошо знаем, но немцы потеряли и язык, и обычаи, может быть, это и хорошо, я не хочу об этом судить и это комментировать, в конце концов они жили и живут в российском государстве.

Так вот, когда нас всех согнали в лагерь, то в основную рабочую массу, занятую на работах в кирпичном заводе, вкрапились и мы, интеллигенты. В тех условиях, в каких мы оказались, не пасть духом мог только очень сильный и стойкий человек. Кроме того, голод, мысли о происшедшем переломе в нашей судьбе, всеобщая грубость неизбежно приводили и ко всеобщему отупению, от которого единственный шаг до апатии и отчаяния. Одно осознание того, что за первые месяцы из тысячи посаженных за решетку осталось пятьсот человек, могло сбить с ног самого толстокожего в смысле эмоций человека. Те, кто оказался в нашей группе, тупостью не отличались и понимали, что надо сопротивляться, не умирать бездумно и покорно, любым способом отвлекаться и от лагерного монотонного режима, и от мысли, что мы сидим за решеткой и неизвестно, чем все кончится. У нас было яростное желание вырваться из всего этого хотя бы мысленно, нормальное желание для такой трудной ситуации. И наверное, то, что мы непрерывно занимали себя делом, не считая законной лагерной работы,

нас в какой-то мере спасло. Потому что мы все-таки продолжали чувствовать себя... интеллигенцией, скажем так. Не терялось в нас что-то, чего не выразишь словами.

Мы организовали «Академию кирпичного завода», шуточное, конечно, название. Идея была общей: в свободное время собираться и читать друг другу доклады, делать сообщения по своей специальности. Помню, кто-то рассказывал о тонкостях французской литературы конца XVIII века, причем с блеском, эрудированно, изящно. На кой черт, спрашивается, нам были эти тонкости в тех условиях? Но я, например, сидел и слушал открыв рот. Интересно! Сам я рассказывал о будущем космической эры, хотя до запусков было невероятно далеко, больше двадцати лет, но я говорил обо всем серьезно, как профессионал профессионалам. Бадер поведал нам о самых интересных археологических раскопках на Урале, Пауль — о его минералогических богатствах, о своей уникальной коллекции минералов, уже собранной, которую он пополнял и во время отсидки. Каждый старался кто во что горазд, мы «веселили» друг друга всяческими дискуссиями, упражняли ум. Конечно, при всех наших беседах постоянно присутствовал оперуполномоченный, который тоже слушал, уж не знаю, что он в этом понимал. Ему приходилось слушать по службе: а вдруг мы ведем антисоветскую пропаганду? Если немцы собираются и долго о чем-то говорят, значит, теоретически, они ведут антисоветскую пропаганду. И он должен был убедиться и доложить по начальству, что ничего крамольного сказано не было.

Хотя, например, Бадер, наивный человек, ляпнул что-то неосмотрительно насчет готов, древних германских племен, которые в III веке жили в Северном Причерноморье, — Бадер вообще о чем думал, то и ляпал вслух. Пришлось его выручать, потому что реакция наблюдающего была соответственной: ах, готы! Ах, Северное Причерноморье! И энкаведешники хотели уже Бадера взять к ногтю — большого труда мне стоило помочь ему выкарабкаться из этой ямы, в которую тот так и норовил угодить, долго я объяснял уполномоченному, что здесь не было никакой задней мысли, просто ученые бредни, вполне безобидные. А так как уполномоченные не очень-то разбирались в тонкостях этого дела, все кончилось благополучно.

Заставляю себя описывать все это с некоторым трудом, потому что ковырять, вспоминать, воскрешать в памяти то время не слишком весело. Мы ведь понимали, что занимаем даже среди сидящих за решеткой последнее место, мы не были социально близкими. Сначала получали питание начальники, потом служащие лагерей, потом заключенные, «зеки», а уж потом то, что оставалось, шло немцам. И когда через несколько месяцев после того, как нас посадили, количество немцев уполовинилось, какой-то чиновник в Москве, ведающий этими делами, схватился за голову: а кто будет дальше работать? И нас начали подкармливать брюквой и картошкой, давали жиденькие каши, в которых плавал какой-то теоретический жир, установили норму сахара и даже стали давать «кофе» из жареного ячменя! Очень, правда, редко. И когда мы получали «кофе» и сахар, то всегда делали одно и то же: смешивали их и съедали в один присест. И это был такой пир! Мяса, сколько я помню, никакого никогда не было, а вот рыбу иногда давали в качестве деликатеса, жутко соленую! Но, может быть, это и хорошо, может быть, я поэтому сравнительно и здоров: корь, дифтерия, гриппы — все прошло мимо меня. Если не считать, конечно, тринадцати операций.

Для поддержки здоровья и избавления от цинги, которой страдало большинство, Пауль придумал выгонку хвойного экстракта. Вера Михайловна привозила нужные реактивы, заказанные ей Паулем, он делал какую-то настойку, смеси, мы все это потребляли, и я в моем возрасте могу похвалиться собственными зубами, благодаря заботам друга. К слову скажу, что знаменитая коллекция Пауля, которую он продолжал собирать и после лагеря, была одной из лучших в то время в стране. Большую ее часть он подарил минералогическому отделу нижнетагильского музея, создав тем самым основу для их экспозиции, кроме того, огромное количество камней осталось дома, их хранит Игорь, сын Пауля, иногда дополняет, но что делать с коллекцией дальше — трагический вопрос. Разрознивать ее нельзя, она собиралась целенаправленно, но пока что-то никто к ней интереса не проявил. . .

Так мы пребывали за решеткой, очень «тихо и мирно», до сорок шестого года, после чего возникли всякие нюансы.

После войны нам объявили, что мы теперь свободные люди и можем писать поэмы, если хотим, и даже их печатать; я не шучу, нам действительно что-то говорили насчет поэм. Но уезжать не разрешили, надо было оставаться тут, не рыпаться и продолжать работать. Нас перевели, как говорилось в дореволюционное время, «под гласный надзор полиции». Мы не имели права удаляться от предписанного места дальше, чем на положенное количество километров. Уйдешь дальше — двадцать лет каторги. Разрешили жениться и переводить к себе жен — к Бадеру, например, тогда приехала супруга, они сняли комнату, и когда им дали поселение, то они оставались там до тех пор, пока ему не выхлопотали возвращение в Москву. Мне для поселения назначили Нижний Тагил, я жил «под гласным надзором полиции» и ежемечасно должен был отмечаться, что не сбежал. Как Ленин в Шушенском. . .

Представилась возможность устроиться на работу в Нижнем Тагиле в индустриальный институт, который сейчас считается филиалом Екатеринбургского индустриального института. Тогда это был не филиал, а независимое учебное заведение, я там преподавал математику, а Пауль — химию. Но все это продолжалось недолго, из горкома партии в институт пришло указание — всех немцев убрать, что за безобразие, война только кончилась, а у вас немцы преподают, чему они учат трудящихся! И нас выгнали. Директор смущенно сообщил нам об этом, сам он не пришел в восторг от партийного указания, потому что терял толковых преподавателей. В Тагиле не имелось крепкой технической интеллигенции, то, что там когда-то жил Карамзин, дела не меняло, преподавать кому-то надо, и директору очень хотелось иметь нас в штате, мы были «под рукой», добротные преподавательские кадры, учили студентов на совесть всему, что требовалось, среди нас были очень квалифицированные специалисты. Но мы все понимали, лишних вопросов не задавали — к чему? И так все ясно. Поэтому я, перестав преподавать, продолжал заниматься теоретическими разработками для института Келдыша.

Вера Михайловна, когда меня посадили, связалась со Щетинковым, который работал у Болховитинова в Билимбае, и он взял ее к себе техником-расчетчиком, она там снимала комнату и жила. А потом, когда Виктор Федорович и Евгений Сергеевич вместе с заводом переезжали в Москву, с ними переехала и моя жена, восстановилась в университете, продолжила

учиться, оформилась на работу в Исторический музей, подрабатывая там экскурсоводом, за каждую экскурсию ей платили отдельно.

Я тогда еще сидел, и Вера Михайловна изредка приезжала ко мне; мать посылала мне посылки — хлеб, крупы. Сама Вера Михайловна жила в Москве впроголодь и до сих пор вспоминает, как получила от моей мамы с Алтая посылку к своему дню рождения — роскошный, мамой связанный шерстяной платок с кистями, миску замороженного масла, миску замороженного молока и пшено. Мама ведь выросла в Эстонии, научилась очень хорошо вязать и этим зарабатывала в эвакуации, вязала огромные красивые платки, очень теплые, продавала, на это они с Карой и ее маленьким сынишкой существовали.

Первое время Вере Михайловне было негде жить в Москве, и она поселилась у подруги моей сестры, Аси Щербаковой, дочери академика Щербакова, главного геолога нашей страны, явилась к Асе с мешком мороженой картошки, дешево купленной в Билимбае. Этой мороженой картошкой они и питались. Наше прошлое жилье занял какой-то летчик, вернуться туда она не могла, и после Аси скиталась по знакомым и по знакомым знакомых.

Правда, я прислал ей справку «оттуда», что имею право на площадь, но справка была несерьезная, какая-то куца. Жена сделала с нее копию в нотариальной конторе, придав ей, таким образом, «приличный» вид, и с ней хлопотала, пока не получила все-таки комнату и смогла перевезти вещи из Успенского переулка, куда ее не пускали. Когда она пришла туда в первый раз, открыв дверь своим ключом, у нового жильца лежал на столе пистолет, и он выдворил Веру Михайловну, мол, она жена врага народа... В общем, веселая была жизнь.

Новую комнату ей дали на 4-й Тверской-Ямской в большом здании, где раньше находился дом терпимости. Потом, когда я вернулся в Москву, меня там не прописали, и об этом отдельный рассказ.

Неприятности были все те же, что и до отсидки. Дело в том, что фактически я бежал из ссылки, формально меня не освободили, а изменили пункт поселения — вместо Урала назначили Рыбинск, потому что там располагался крупный авиационно-моторостроительный завод, где работали заключенные. Но в глазах НКВД я по-прежнему был ссыльный и, таким образом, оставался бы в Рыбинске именно в этом же положении. Наше предприятие, мои друзья писали всякие письма в разные места, в частности, активно хлопотал Евгений Сергеевич Щетинков, и в своих письмах они меня перехвалили. Ну, в НКВД и подумали, зачем же такого толкового человека отдавать, оставим себе. У нас в Рыбинске есть шарага, где работают и заключенные, и вольнонаемные, запустим его в этот город, там у него будет свободная жизнь, снимет квартиру, жена может приехать — пожалуйста, свободный человек. Однако мне опять повезло: Рыбинск недавно переименовали в Щербаков, но ни я, ни сотрудники НКВД в Тагиле не знали, где этот Щербаков, и поэтому решили отправить меня в Москву, а из Москвы получить направление в Щербаков, ведь в столице должны знать, где этот таинственный город. Но когда я приехал в Москву, меня «перехватил» Келдыш.

Таким образом, я нарушил все предписания, что грозило мне высылкой, но совершенно случайно, сам того не зная, сделал гениальный психологический ход. Я не стал прописываться в Москве, а попытался прописаться в Подмосковье, мне в этом содействовали старые друзья-ракетчики, но меня

и туда не прописывали, и я, по своей обычной системе, пошел жаловаться дальше, областному начальству, написал заявление, приложив ходатайство от Академии артиллерийских наук, где работал мой друг Юрий Александрович Победоносцев, заместитель председателя академии. Он подписывал разные мои слезные письма, и куда только я с ними не ездил — никакого толку.

И вот тут-то я, сам того не зная, и сделал гениальный ход. Почему гениальный? Потому что я его не придумал, а получился он как бы по наитию свыше. Я зашел к начальнику паспортного стола Московской области, у которого в приемной сидел народ в тулупах и цапавейках, явно колхозники, тоже пытавшиеся прописаться из других областей поближе к Москве, им всем отказывали, потому что эта высокая инстанция только отказывала, и мне, конечно, отказали тоже. какой-то лейтенант сказал: «Мы вас прописать не можем». — «А есть кто-нибудь выше вас?» — «Есть, мой начальник, но он тоже ничего не может». — «А где он?» — «А вон его комната, он там сидит». — «Я пойду к нему». — «Пожалуйста, идите». Я пошел к этому начальнику и в дверях сказал ту самую ключевую фразу, которая все решила, но я тогда этого не понимал и очень смущенно произнес: «Простите, я пришел по дурацкому делу, все равно вы мне ничем помочь не можете, но я просто решил пройти по всем инстанциям. Меня не прописывают, вы, конечно, тоже не сможете меня прописать. . . » — и прочее в том же духе. Он посмотрел мои документы и спросил: «А можно письмо, которое вы принесли, написать вот таким образом?» — «Конечно, можно!» — «Ну, сделайте и приходите снова». В академии написали письмо так, как он продиктовал, и начальник распорядился: «Оставьте у меня и приходите в понедельник». Теперь он сам должен был докладывать, поскольку идти выше по инстанции он меня пустить не мог, но ему не хотелось выглядеть в моих глазах человеком, который ничего не в состоянии решить. Если бы я зашел к нему просто так, не сказав ключевых слов «я знаю, что вы мне ничем помочь не можете», что вы, мол, бессильны, он бы мне не помог, но именно этой фразой я и спровоцировал его в хорошем смысле этого слова, не подозревая, что сказанное окажется провокацией. И он почувствовал, что если не сделает то, о чем его просят, то какой же он начальник и вообще, кто он такой? Так я получил областную прописку.

Прописала меня в своей комнатке, в «углу», одна женщина. Мы договорились, что я ей буду платить, но жить не буду, это устраивало нас обоих; договорились также, что обо всех повестках, которые придут на мое имя, она будет сообщать по телефону в Москву, и я уехал к Вере Михайловне в коммуналку. Но когда меня вызывали в военкомат или еще куда-нибудь, я всегда появлялся вовремя. Такая двойная жизнь — Подмоскovie липовое и настоящее мое пребывание и работа в Москве.

С жилплощадью тогда было очень трудно, но со временем я получил ордер на одну комнату, потому что у Веры Михайловны была уже своя. Ордер я получил от института Келдыша, который назывался то Институт №3, то Институт №1, то Институт тепловых процессов и так далее, но все это были названия одного учреждения, который раньше назывался реактивным НИИ. Я сидел в том же здании, в той же комнате, на том же стуле, менялись только названия и штампы в трудовой книжке. Келдыш одно время был начальником института, потом — научным руководителем института, его тоже именовали по-разному.

Официально я вернулся в Москву в сорок восьмом году: в сорок пятом — конец войны, в сорок шестом — сорок седьмом — лагерное поселение, в сорок восьмом — Москва. Причем работа моя на Москву не прерывалась, и когда я приехал, мне ничего не надо было начинать, надо было только продолжать. Теперь я снова ходил на работу в институт, откуда меня забрали в сорок втором и куда я присылал свои отчеты из лагеря. Королёв после освобождения из лагеря в этот институт уже не вернулся, а стал работать в другом месте. Институтом руководил Мстислав Всеволодович Келдыш, известный в то время под загадочным названием «Главный теоретик». Мне опять повезло: Келдыш был выдающимся ученым, порядочным, очень хорошим человеком, мягким в отношениях с людьми, но железным в работе, и я счастлив, что много лет, лет десять наверное, работал с ним. Это было интересно и приятно. Всегда приятно работать с людьми, которые думают не о каких-то своих мелких делишках, а о Деле. Келдыш был человеком, который думал о Деле.

Жизнь пошла своим чередом.

Глава 4

Задолго до рождения наших девочек у меня часто спрашивали: вы столько лет женаты, почему у вас нет детей? И я отвечал шутя, что у меня все идет по плану, что в пятидесятом году у нас родятся девочки-близнецы. И когда в пятидесятом году действительно родились девочки и действительно близнецы, на работе не поверили — слишком все походило на розыгрыш, потому что я года два об этом твердил.

Когда в начале сорок восьмого я вернулся из Нижнего Тагила, Вера Михайловна «копала» под Ногинском: она была археологом, специализировалась по эпохе неолита и бронзового века и очень увлекалась своей профессией. В то же время в Москву из Краматорска приехали ее сестры-близнецы, семнадцатилетние красавицы с толстыми косами. Вере Михайловне они приходились сводными, у них была общая мать и разные отцы. Отца Веры Михайловны, Михаила Павловича Иванченко, в ноябре девятнадцатого года расстреляли белые, и сестры родились уже от второго брака матери, они на девять лет моложе моей супруги. В скобках замечу, что вся семья Иванченко была изведена под корень. Оба дяди Веры погибли за то, что «сочувствовали» большевикам, одного повесили белые на фонарном столбе прямо перед окнами родительского дома, другого, работавшего механиком на судне, изрубили белые офицеры и сожгли в топке. Их сестру Анну расстреляли фашисты в сорок втором году во время оккупации Харькова. О судьбе Якова Павловича рассказывалось мною выше. . .

После свадьбы я говаривал Вере, что когда-нибудь мы заведем себе «Андрюшку», но, увидев ее красавиц-сестер, решил: нет, «Андрюшки» нам не надо, нам надо пару девок! И во время беременности Веры Михайловны мы оба были убеждены, что родятся девочки-близнецы, настолько убеждены, что жена заявила директрисе в ответ на ее напоминание: пора бы закончить диссертацию, — что сначала она уйдет в декретный отпуск. «Да, но только на полгода». — «Нет, вы мне дадите год». — «Почему?» — «У меня будет двойня. . .» Директриса сняла пенсне и спросила: «Откуда вы знаете?» — «У меня это наследственное».

Так и получилось. Рожать Вера Михайловна поехала к матери, потому что в Москве у нас не было никакой родни, и провожая ее, я бежал за вагоном и показывал на пальцах — двоих. Она и родила — Веру и Оксану, все-таки моя жена «националистка», и с самого начала был уговор, что если родится одна дочь, то будет названа Оксаной, а если две, то вторая получит имя — Вера, в честь своей мамы.

Когда девочки появились на свет, Вера Михайловна дала мне в Моск-

ву телеграмму-пароль: «Вези второе одеяло»; приехав с одеялом, я увидел дочерей, для меня они были морковки-морковками, только не красные, а беленькие — красными, страшненькими я их не застал.

Оксана родилась первой, считается «старшей», была очень слабенькой, да и Вера не отличалась крепостью здоровья; одна весила два двести, вторая — два пятьсот. Совсем доходяги, лежали поперек кровати запеленатые, действительно как две морковки. Отчим, который, по-моему, любил Веру Михайловну больше своих дочерей, с сокрушением сказал: «Та неначе у вас ця дитына вмираэ. . . » Все сделали, чтобы спасти девочку, я был в то время в отпуске, это происходило при мне, я давал свою кровь Оксане, и как только ей сделали первое вливание, пять кубиков, она сразу выпила девяносто граммов молока. И этим ее спасли. . . Когда я лежал после тринадцатой операции в полной «отключке», уже Оксана давала мне свою кровь — это так, к слову. . .

На Украине девочки с Верой Михайловной пробыли месяца три, а потом все они, вместе с моей тещей, приехали в Москву, на 4-ю Тверскую-Ямскую, в нашу коммуналку. Жили в одной комнате, я часто спал на полу под столом, потому что места не хватало. Есть что вспомнить. . . При всем этом, конечно, дрожали, потому что я не был прописан, соседи все время доносили, что живет лишний человек, милиционер наведывался, и тогда меня прятали в шкаф. А что было делать? В конце концов терпение у моей супруги лопнуло, и мы сами пошли в милицию, где она сказала какому-то майору: «Хочу, чтобы вы разрешили моему мужу жить у меня, официально он прописан в Подмосковье, но у нас двое детей, близнецы, я в Москве, он в Московской области, сколько можно мучиться?» «А в чем проблема?» — спросил майор. «Как в чем — пятый пункт! Мой муж немец». А в это время наметилось некоторое потепление в отношениях с Германией, начались всякие заигрывания, и майор сказал: «Не вижу в этом проблемы, живите спокойно». И с тех пор все встало на свои места, я уже не сидел в шкафу, и милиционер больше нас не навещал. Он ведь ходил вовсе не потому, что ему хотелось меня проверять, а потому, что ему жаловались соседи, один из которых был редкая сволочь, хотя ничего худого от нас не видел. Ему просто приятно было делать гадости.

В собственную двухкомнатную квартиру мы переехали году в пятьдесят третьем, причем тоже не без приключений, институт был заинтересован в том, чтобы не пропала комната Веры Михайловны, поэтому квартиру дали мне и моему другу из этого института напополам — комнату мне, комнату ему, — но мы заранее договорились с дирекцией, что во вторую комнату въедет Вера Михайловна, которая поменяется с моим другом. Таким образом, у нас получалась отдельная двухкомнатная квартира, а институт «тратил» только одну комнату. Удалось, но с большим трудом. Мы пробивали это дело десять месяцев, видимо, у нас вымогали взятку, но я просто по дурости этого не понимал. Квартирные дела всегда пахнут взяточничеством, а мы не умели давать взятки и в толк ничего взять не могли. Но квартиру все-таки получили, напротив моего института, на Лихачевском шоссе.

Как выражалась моя жена, я носился с дочерьми, как дурень с писаной торбой, всем хвастался. Когда девочки родились, Оксана была моей копией, а Вера — копией матери. Примерно в восемь лет они поменялись местами, и Оксана стала копией матери, а Вера — моей копией, поменялись и харак-

теры: Оксана спокойная и выдержанная, как я, а Вера порывистая, вся в мать.

Теоретически нам хотелось еще одного ребенка, сына, но не было никакой материальной возможности, мы жили очень скромно, и это длилось много лет. Мало получали, помогали моей матери. Не потому, что ей не на что было жить, ее всем обеспечивали, но она почему-то считала, что деньги на жизнь ей должен давать сын. Такая у нее была установка, хотя семья Кары жила много лучше нас, благополучнее: Андрей Дмитриевич, ее муж, из рода Миклухо-Маклая, доцент Ленинградского университета, получал, как все научные работники, приличный паек. Но мама считала, что не может жить на иждивении дочери, должна иметь свои деньги, которые обязан прислать ей сын. И мы ей посылали небольшую сумму, а сами жили на одной овсянке. Я зарабатывал не столько, чтобы обеспечить четырех человек и няньку, Вера Михайловна в Историческом музее тоже получала, сами понимаете, мизерную зарплату... Так скудно мы жили, пока я не защитил кандидатскую диссертацию году в сорок девятом—пятидесятом и докторскую в пятьдесят седьмом. Материально, конечно, это нам дало прибавку, ведь я работал только в НИИ и со студентами, больше нигде, не подрабатывал, как это делали многие.

Как складывалась моя жизнь в науке? Я продолжал разработку темы горения. Космических запусков тогда не было, об этом велись чисто теоретические разговоры, которые шли, собственно, с начала века, с Циолковского, но ничего конкретного еще не делалось. То есть я не делал. Работал в области ракетостроения в интересах различных оборонных министерств.

Защитив докторскую, я не думал о дальнейшей научной карьере, скажем, о члене-корреспонденте. Бывал за границей, был вполне выездной, поскольку существовало решение ЦК о том, что можно упоминать имена ученых, работавших в области ракетной техники до войны. Я попал в этот список и спокойно стал выезжать за границу с докладами по ракетам, ракетной технике, ибо занимался этим до войны. Все происходило задолго до пусков первых космических аппаратов, поэтому я ездил по разным открытым научным международным конгрессам, много выступал. К тому времени моя докторская диссертация была опубликована в виде толстой книги «Вибрационное горение», помню, я ее подарил Королёву, хотя тогда еще у него не работал, он смеялся, что читать не станет, ему это ни к чему. Я мог говорить и писать о горении что угодно, это была открытая тема. Конечно, у меня имелись и другие работы, которые я не публиковал. А кое-что выходило в свет в виде статей, в среднем один раз в год — такая у меня была норма. Обычно они публиковались в той стране, где шел конгресс. И когда начались космические запуски, я все равно имел возможность выезжать за границу с соблюдением нужных правил.

Примерно в пятьдесят четвертом году, уже будучи профессором, уже имея возможность «отрастить пузо», я... все бросил и начал сначала. Занялся новой тогда темой — теорией управления космическими аппаратами. Еще в помине не было никакого спутника, но я знал, что это перспективное направление, с него я начинал до войны, оно меня всегда интересовало. И Келдыш меня поддерживал, хотя моя работа никакого отношения к тематике института не имела. Я как-то сказал Келдышу, что неудобно, мол, проблемами горения я уже не занимаюсь, занимаюсь другим, а он ответил: «Не важно, если что-то получается, надо делать, не надо смотреть — подходит

не подходит...» Разработанная тогда нами система позволила сфотографировать обратную сторону Луны, пошли новые заказы, институт с ними уже не справлялся, надо было резко расширяться, а расширяться некуда, площадей нет. И было принято решение перейти к Королёву.

Это не было разрывом с Келдышем. Просто работы, которые я вел, выходили за рамки его института, и Келдыш сам договорился с Королёвым (который в нас поверил), что я со своей «командой» — сто человек — перехожу к нему. Тем более тогда уже понадобились многие новые системы управления космическими аппаратами, и оказалось, что наша группа — единственная в стране, всерьез занимающаяся подобными проблемами. Я был нужен Королёву в качестве «главного конструктора» таких систем. У него мы могли значительно развернуться. И в последние годы жизни Сергея Павловича я работал с ним, последние шесть его лет, с шестидесятого по шестьдесят шестой год, находился непосредственно под его началом.

Королёвская фирма в те годы делала боевые ракеты, это считалось главным направлением, а космические запуски — второстепенным. Нагрузки, будущие спутники — все казалось второстепенным для начальства, но не для Королёва. Начальству было совершенно неинтересно — полетели собаки, ну и черт с ними, с собаками, важно, чтобы получилась боевая ракета. А для Королёва это было важнее, поскольку он понимал, что это открывало дорогу для человека в космос. Поэтому он делал так: получая заказ на какую-то боевую ракету, всегда просил — и ему это всегда разрешали — какой-то их процент сделать в варианте «академический». Такому варианту присваивалась буква «А». Предположим, строится что-то военное, не оружие, а спутник-разведчик, что-то в этом духе, и делается его научный вариант. Так вот этот вариант шел под тем же названием, что и военный, но с прибавлением буквы «А»: скажем условно, какой-нибудь К-65-А, это я наобум говорю, таких названий в природе не было.

«Академические» варианты Королёву были совершенно не нужны для задания, которое он получал по военной части (а других заданий он и не получал!), но ему они казались принципиально важными и, может быть, даже более интересными, чем боевые ракеты. Таким образом он и добился тех результатов, которые сейчас поражают всех.

Первый спутник представлял собой гражданский вариант военной ракеты, а когда мы создавали межконтинентальную ракету, то знали: если вместо тяжелой боеголовки поставить легкую, она станет спутником. И, в порядке бреда, корабль, на котором летал Гагарин, можно было «загрузить взрывчаткой» и направить на Пентагон. Но нас это не интересовало, как не интересовали и космические войны, в принципе реальные, но требующие столько денег, что непонятно — стоит ли их тратить на такое бесполезное дело. Нас интересовал Космос в мирных аспектах, в научном смысле, у нас было ощущение, что мы сильнее Природы, может быть, вопреки здравому смыслу, но было. Мы почувствовали, что с Космосом можно делать что угодно, не нам, так следующим поколениям. Тем более что Космос становится очень важной отраслью народного хозяйства, очень прогрессивной во всех отношениях, и я по-прежнему отдаю ему должное.

Меня боевые ракеты интересовали мало, потому что там все известно, понятно, как их строить, что делать. Я уже неоднократно говорил, что это очень увлекательная работа для инженера — улучшать известное, ну, скажем, современный суперскоростной самолет, где инженера привлекает со-

здание более совершенного варианта. Мне это направление чуждо. Опять-таки повторяюсь, но мне неинтересно заниматься тем, что уже делали до меня, улучшать известное. Хочется придумать что-нибудь новое. В шутку я объяснял, что слишком ленив, чтобы знакомиться с тем, что уже сделано, вникать в конструкции, узнавать узанное, осваивать всю литературу по этому вопросу. Лучше заниматься чем-то таким, чего еще не делал никто, тогда ничего и читать не надо — таким образом, мол, проявляется моя природная лень. И поэтому у Королёва я пошел как раз в этом направлении, стал заниматься не тем, ради чего создавали эту фирму, финансировали ее и прочее, то есть боевыми ракетами, а сосредоточил свои интересы на зарождающейся космической технике.

Можно сказать, что я со своим коллективом пришел к Королёву после того, как он убедился, что мы не болтуны, что мы создали систему для фотографирования обратной стороны Луны не у Королёва, но для Королёва.

При фотографировании изображение передавалось телевизионным способом, придумывать было нечего, все это общеизвестно и у нас, и за границей, просто вопрос в том — кто первый сделает. Никакого особого открытия, никакого потрясения основ, а вот технически решить, сделать это кто-то должен был, и мы в Советском Союзе сделали первыми. В частности, я разработал систему управления наведения космического аппарата с фотоустановкой на Луну.

Над этой проблемой работали и телевизионщики, и фотографы, много народу. Моя задача заключалась в управлении космическим аппаратом во время полета, надо было поворачивать его так, чтобы объективы фотокамер смотрели на Луну, а не на что-нибудь другое, и сняли что следует. То есть я делал маленький кусочек работы, хотя Марк Галлай и утверждает, что я слишком сдержанно говорю о своем участии в этом деле и что фактически внес в создание систем управления ракетами и космическими кораблями вклад без преувеличения решающий — «менее, чем за десять лет под его (моим!) руководством были реализованы системы фотографирования обратной стороны Луны, системы ориентации и коррекции полета межпланетных автоматических станций «Марс», «Венера», «Зонд», спутников связи «Молния», автоматического и ручного управления космическими кораблями, пилотируемыми человеком. . . Значение этих систем не требует доказательств — полет неуправляемого или неориентированного нужным образом космического летательного аппарата вообще теряет всякий смысл». Привожу эту цитату в качестве взгляда со стороны и комплимента, который сделал мне мой старый друг и коллега, а не для того, чтобы похвалиться перед читателями, какой я умный.

Хотя в некотором смысле это была уникальная работа. Мы опередили американцев, получили Ленинскую премию, куда как приятно! К премии полагались деньги, разовые, но тогда премию по одной теме, если работу выполнил большой коллектив, могли получить только десять человек, не больше. Сто человек не могли получить Ленинскую премию за одну работу. Деньги фактически были ерундовые, когда их поделили на всех. Но дело ведь не в деньгах, они не оставили заметного следа, хотя мы все-таки купили после моего лауреатства свою первую машину, «москвич». Главное — почет, этим можно гордиться, ведь еще астрономы мечтали увидеть обратную сторону Луны, но утверждали, что ее никто не увидит. Мы увидели ее первыми. . .

Раньше ведь как было — первый спутник, первый полет человека в космос, и кроме Гагарина следовало бы называть тех, кто имел непосредственное отношение к полетам, а называли тех, кто к этому не имел никакого касательства. Они ездили по заграницам, представляли нашу работу, но за границей-то видели, что они совершенно пустые, ничего не знают. Поэтому приняли решение, думаю не без соответствующих сигналов из-за границы, не без некоторых скандалов международного характера, что надо показывать людей, которые на самом деле работают. Чтобы не получалось так: одни анонимно вкалывают, а другие ездят и пожинаяют лавры, ничего в этом деле не смысля.

Решили кого-то показать и выбрали почему-то меня и Феоктистова: мы с ним на каком-то пуске давали интервью с каждого сеанса связи, возле нас увивались наши журналисты, расспрашивали, мы отвечали, и они это печатали. В результате мои фотографии появились даже в каком-то голландском журнале, мне его потом показывали, где под моей фотографией написали, что это главный конструктор советских космических кораблей. Мы очень смеялись, за границей тоже, наверное, понимали, что это не так, но журналист, который напечатал этот материал и мою физиономию, решил таким образом повысить ценность своей публикации.

Что касается собственных статей, то у нас существовали некие правила — все мы, работавшие на космос, имели право печататься в газетах и журналах под псевдонимами. Скажем, Иван Петрович Иванов печатался под псевдонимом «Петрович», а я нарушил традицию, взяв себе псевдоним «профессор В. М. Иванченко», то есть девичью фамилию и инициалы моей жены. И вот статьи «профессора Иванченко» появились в прессе, а гонорары получала Вера Михайловна, она была очень довольна и мне не давала ни копейки. Но все это началось после первого запуска, а до него — полная тишина.

Собственно, к первому запуску я не имел никакого отношения, потому что он был неуправляемый. Но когда нужно было управлять, меня задействовали. В первый такой запуск — фотографирование обратной стороны Луны — мы сидели и ждали результата, и у меня гора упала с плеч, когда среди ночи мне позвонили и эзоповым языком сообщили: «Сюжет есть!» Фотографирование обратной стороны Луны прошло с первого раза. Попытка сфотографировать ее второй раз закончилась неудачно: второй раз вышел из строя носитель при старте. Потом появились более серьезные работы — «Марс», «Венера», «Зонд» и так далее; спутники Земли надо было ориентировать, и я продолжал заниматься этим делом.

Королёв всегда хотел запускать в космос живые организмы и запустил собачек, черепах, еще кого-то. После удачных беспилотных запусков наступил наконец момент, когда мы могли рискнуть человеком. Это был сложный момент. У Королёва имелось естественное желание, чтобы все произошло как можно быстрее, чтобы это случилось при его жизни, а не после смерти. Тем более что американцы тоже готовили запуск человека, и нам надо было их опередить. По этому поводу шла нормальная спешная работа.

Гагарин действительно стал первым, до него никого не запускали, все слухи об этом — ерунда. Правда, была одна жертва, но это случилось на Земле, а не в космосе и не при запуске, когда один из будущих космонавтов (тогда еще никто не полетел) сорел при наземных испытаниях — были допущены ошибки, и на нем вспыхнула одежда. Произошел несчастный

случай.

С Гагариным не случилось никаких накладок, «бобов» и «бобиков» на нашем языке, полет шел, как задумывали, и, собственно, ничем не отличался от обычного полета с живым организмом. Слишком он был прост и хорошо отработан, чтобы что-то могло случиться. Гагарин в управление не вмешивался, его задача заключалась в радиосвязи и медицинских экспериментах. Я обычно шутил, что полетная инструкция Гагарину состояла из четырех слов: «Ничего не трогай руками». Титову уже разрешили вмешиваться в управление. И в его полете все шло автоматически, но наступил один момент, когда ему доверили на несколько минут ручное управление. Он, можно сказать, первый человек, который проводил управление в космосе.

Титов, естественно, справился, это же было простое задание, любой бы справился, и я справился бы. И Гагарин, и Титов благополучно приземлились, без всяких накладок. Жертвы начались с Комарова, первым погиб он, потом тройка — Волков, Пацаев, Добровольский. Но это уже без Королёва, при Королёве ничего подобного не случалось.

После гибели Комарова была естественная реакция, провели без замечаний, как говорится, какое-то количество беспилотных пусков. Боюсь сейчас сказать, сколько прошло таких благополучных пусков, после которых реши выпустить следующего космонавта, — по-моему, им стал Береговой. Подробности не помню, их можно найти в «Истории космонавтики», но думаю, это не так уж теперь интересно.

Комарову я очень симпатизировал, больше того, я его любил. Он был старше всех космонавтов, взрослее, я бы так сказал, отличался от всех. Если все ходили в лейтенантах, то он — капитан, имеющий инженерное образование.

При отборе космонавтов предварительно отсеивается масса людей, сохраняется только тщательно проверенная группа. Та, с которой я первоначально имел дело, носила условное название «первая десятка». Из нее полетели не все, но это случайность, могли полететь все. Комаров, это был его первый полет в составе экипажа, ушел в полет с Егоровым и Феоктистовым, они благополучно вернулись. Погиб Владимир Михайлович во время второго полета, это была первая жертва в космосе, нелепая жертва, этого не должно было случиться — при спуске не вытянулся парашют. Катастрофы при запуске неизбежны, всякие испытания связаны с риском для жизни испытателя. Проектируя, мы не можем предвидеть всей полноты риска, научно его предвидеть, и люди, которые работали с нами, молодые ребята, прекрасно понимали, что рискуют жизнью. На то они и военные, чтобы рисковать.

У Комарова не вытянулся парашют при посадке, хотя весь спуск прошел хорошо. Комиссия выяснила, что парашют оказался с «ошибкой», технические подробности здесь ни к чему, просто имелся дефект парашютной системы. Аппарат упал камнем и врезался в землю. Скорость падения и сила удара были не такими, чтобы он зарылся в грунт, образовалась просто небольшая луночка, но удар-то был! Этого достаточно, чтобы человек погиб. А больше ничего не пострадало, приборы, разные приспособления — все уцелело, что им сделается, они рассчитаны на удары и грузки, проходят очень жесткие испытания на прочность.

С Комарова начался печальный список погибших в космосе.

Все знают, что отработка означает действие, при котором могут гибнуть аппараты, дело естественное, и люди, занятые космосом, к этому привыкли, как ни кощунственно это, может быть, звучит. Конечно, было жаль погибших, но коррективы вносили независимо от того, удачно или неудачно прошел запуск, потому что анализ любого полета показывал, что что-то работало не совсем хорошо, даже если сам полет прошел гладко. Кое-что всегда лучше решить по-другому. И после каждого полета в конструкцию, в программы вносились изменения, это нормальное явление в любой сфере человеческой деятельности.

Те аппараты, которые оставались после благополучной посадки, пускали на всякие отработочные испытания, второй раз с той же аппаратурой, насколько мне помнится, не летали. Конечно, в случае неудач бывали понижения в должности, выговоры, отстранения от работ, взыскания, в том числе и партийные. Я тоже вступил в партию, довольно поздно, когда занялся космосом, после XX-го съезда, еще в НИИ, до перехода к Королёву, значит, примерно в шестидесятом году. Начальник отдела автоматически становился членом партии, иначе было нельзя.

При всякой работе людей поощряют или наказывают в зависимости от того, что получилось. Так происходило и в нашей фирме, но ничего похожего на то, что могло произойти раньше, никаких репрессий, арестов или чего-нибудь вроде этого не было. Хватало нравственных переживаний в случае неудачи. Но, повторяю, люди привыкли к тому, что не всегда все получается удачно, что бывают и накладки, и провалы.

Возвращаясь к космонавтам, скажу, что Гагарин, по моим наблюдениям, держался хорошо. Я ожидал худшего после обрушившейся на него славы. Он не задрал нос, во всяком случае по отношению к нам у него никогда не проявлялась ни зазнайства, ни амбициозности. Он слетал один раз, а другие летали и по два, и по три раза, у кого-то было даже четыре полета. И дело не в том, что космонавтов не хотели пускать по второму или третьему разу, что за них боялись — нет. Стояла огромная очередь желающих, кто не летал еще ни разу! И в этих условиях полететь второй раз и не дать кому-то полететь первый раз, какому-то очереднику, всегда становилось моральной проблемой. И дело тут даже не в деньгах, а в славе. Слава! Он — герой, он великий человек, о нем пишут в газетах, он ходит с важным видом, ездит за границу, его показывают по телевидению. . . Вот эта сторона привлекала, а вовсе не какие-то там деньги. Тем более, никаких особых денег за этим не стояло. А слава — да!

Более того, всем инженерам, работавшим над системами, тоже хотелось полетать, но удалось только Феоктистову, Севостьянову и Елисееву. Я, разумеется, даже не пытался, возраст не тот, все-таки не двадцать пять, мне было уже под пятьдесят.

Сейчас проще, американскому космонавту чуть ли не под семьдесят, а он собрался лететь, уже все отработано, уже и в семьдесят можно взвиться в космос, современные средства доставки и посадки таковы, что не требуют таких перенапряжений, как раньше. То есть перегрузки значительно слабее, не нужно такого бешеного здоровья, которое раньше являлось непременным условием полета, первым его условием. Перегрузки возникали огромные, поэтому рост, вес человека имели большое значение. Крупные люди в космосе нежелательны, они занимают много пространства, значит, аппарат надо делать больше, значит, увеличится его вес. Первые космо-

навты были изящного сложения, выражаясь по-старомодному. Хотя потом летали и высокие.

По роду своей работы я бывал в Звездном городке, закрытом для простых смертных, и как от всякого закрытого города осталось впечатление избранности, потому что жили там только космонавты и их семьи. В Звездный не разрешалось ездить просто так, требовался специальный допуск. Журналистов, правда, пускали, им не нужно было проникать. Сначала в Звездном построили пару домов, но постепенно город разросся, там появился Центр подготовки к полетам, поселили обслуживающий персонал, инженеров. А первоначально это был деревянный двухэтажный барак, где космонавты занимались тренировками и подготовкой к полету, там же находились и все службы Центра.

Сейчас Звездный практически открытый город, туда возят экскурсии, его показывают иностранцам. Но по-прежнему там ведется подготовительная работа, которая со дня первого полета никогда не прекращалась. Со дня полета Гагарина. . .

Гибель Гагарина я не считаю гибелью в космосе, скорее уж в космосе погибли американцы, сидя в ракете на старте, но тоже не в полете. Возник пожар, и они сгорели. Надо отметить, что у нас не было ни одной гибели, о которой не писалось бы в газетах. Не так много происходило у нас при запусках несчастных случаев, как расписывают некоторые, считая, что наши газеты по этому поводу много вралли. Да, они много вралли, но о космических делах не соврали ни разу, так было заведено с самого начала — не врать! Умалчивать — умалчивали, но не вралли. О неудачах говорили глухо или уклончиво: задание выполнено, а какое задание — непонятно. Такая вот муть. Но не вралли.

Слухов ходило, конечно, несметное множество, например, что идея послать в космос женщину принадлежала высокому начальству. Высокому начальству идеи в голову вообще не приходят, ему докладывают, предлагают — начальство слишком занято, чтобы мыслить идеями. Задумал это Королёв в поисках, чем бы еще удивить мир. Естественное желание: пусть летит женщина, пусть осуществится выход из корабля в открытый космос. . . Научное трюкачество в хорошем смысле слова. Я бы добавил — спортивное. Конечно, у Терешковой имелась дублерша, кажется, её-то и должны были запустить, но выбор делался и по анкетным соображениям, в какой-то мере они определили и запуск Гагарина. Пропагандистским организациям требовалось, чтобы летела не просто женщина, но женщина а) русская, б) из рабочих, в) член партии и так далее. Идея брака Терешковой и Николаева тоже была не королевская, а все получилось естественно: в Звездном городке, пространстве замкнутом, как монастырь, обретаются незамужняя девушка и холостой парень. Чем это кончится? Свадьбой. И вся болтовня, что это был эксперимент, ерунда.

Первую десятку вели врачи, они готовили первый полет человека в космос, поэтому в основном решались медицинские задачи. Врачам показалось, что лучше для этой цели подходит Гагарин — приятный, веселый, и лицо у него действительно хорошее, эмоционально воспринимающееся. Не сказать красавец, но обаятельный. Круг отбора сужался, и в конце концов сошлись на Гагарине. Повторяю, что тогда в основном все решали врачи, поскольку никто не знал, что произойдет в космосе с человеком, он, мол, может и с ума сойти — эту точку зрения из нас никто не разделял, она бы-

ла сугубо медицинской. Поэтому придумали некую блокировку, к счастью, Королёв в последний момент, перед стартом, ее отменил. А было сделано так, чтобы Гагарин не мог включить ручное управление, не решив некой логической задачи для проверки своих способностей: некоторые психиатры считали необходимым убедиться, что он «не сдвинулся», что у него «не поехала Крыша». Если, мол, решит, значит, соображает. Значит, можно ему доверить ручное управление. И только в последний момент Королёв посчитал, что это не дело, и дальше никому логических задач не предлагали.

Гагарин летал недолго и разные физиологические явления не успели развиться, а Титов летал целые сутки. Космонавты рассказывали, что наступает дискомфорт, очень мало людей чувствует себя в космосе нормально, как, например, немецкий космонавт Йен. Но всегда в первый час невесомости человек чувствует себя далеко не о'кей, поэтому теперь принято на время первого витка не давать никаких заданий. А сначала решили, что после взлета космонавт делает то-то и то-то, и ничего не получалось, — космонавт был не виноват, он еще не адаптировался к невесомости. Мы этого не учли, поэтому вина лежала на нас. Ведь все было внове!

Я присутствовал практически на всех запусках космонавтов, может быть, не был на последнем, а на все первые обязательно летал на Байконур. Беспреданно шла работа над новыми и новыми системами, все более совершенными, любой запуск давал новый большой опыт, пищу для размышлений: доводки, улучшение систем, решение неожиданных технических задач. . . Личная работа с космонавтами. . . Скажем, я поддерживал очень тесную личную связь с Гагариным до полета и примерно месяц после полета. Когда он слетал в космос, мне как бы уже нечего было с ним делать, за ним пошли другие космонавты, с которыми я так же тщательно работал. И я потерял тесный личный контакт с Гагариным. Конечно, я знал, что он поднимается по ступенькам карьеры, что прибавляется звезд на его плечах, он пополнял, был принят всеми королевскими дворами. . . Но подробностей не знал, тех подробностей, которые мог услышать только от него. Я наблюдал за ним не со стороны, потому что уже достаточно хорошо его изучил и мог себе представить, что с ним происходит. Некоторые же наблюдали со стороны и обобщали, хотя в таких случаях обобщать не стоит. Конечно, при такой всемирной славе очень трудно не испортиться, это все знают, кроме того, Гагарин прекрасно понимал, что как рабочий космонавт он уже вряд ли будет использован, он стал символом, и это его угнетало, ему было больно, поэтому он одержимо рвался к следующему полету. Скорее всего, его бы не пустили, но он тренировался, формально еще имел данные для дальнейшей работы в космосе.

Сплетен и пересудов вокруг него наплели слишком много, он был настолько на виду, что некоторым, вполне возможно, мозолил глаза. Откуда, например, возник дурацкий миф о том, что он погиб с летчиком Сергиным по пьянке? Это абсолютная чушь. Чтобы он нетрезвым явился на аэродром, велел подать себе самолет и ему разрешили лететь?! Бредни! Состоялся один из многих тренировочных полетов, которые он выполнял регулярно, хотя я лично считаю, что он зря это делал, как первый космонавт мира Гагарин представлял собой некую государственную ценность, реликвию, поэтому я бы перед ним поставил стеклянную витринку с надписью: «Национальное достояние», и никаких экспериментов! Но ему хотелось, хотелось летать, быть летчиком, служить в авиации, и его начальник

так считал тоже, конечно, это было неправильно. Размахистый русский нрав в некоторых случаях — неоспоримое достоинство, но в большинстве случаев — недостаток нашего народа.

Представьте себе удалого, молодого, азартного Юрия Гагарина, который счастливым голосом говорит: «Поехали!» — и первым — первым! — летит в космос, а потом, спустя много времени, видит себя в качестве восковой персоны в музее мадам Тюссо — есть в этом что-то отвратительное, чего нормальный человек, мужчина, полный сил, пережить не может, он хочет компенсации. Но всякая научная работа с его стороны была исключена, в армии он занимал пост начальника того-то и того-то, и я думаю, он этот пост вполне оправдывал. Но ему было нужно не это, он хотел полететь еще раз, чтобы быть дважды Героем, чтобы после очередного, предвкушаемого им полета сойти на Землю великим Гагариным. . . И вот мы потеряли обаятельного парня с чудесной улыбкой, в котором воплотился миф о полете Человека к звездам.

Вспоминаю, как с ним познакомился. Королёв отобрал, как я уже говорил, десять космонавтов, с которыми я должен был заниматься, учить их тому, в чем они тогда еще ничего не понимали. Составили обширную программу с большим количеством лекций на разные темы, и, надо сказать, учились они — дай Бог! Занятия проводились серьезные, моя тема называлась «Система управления», и первую группу я вел сам, а потом — и сейчас — космонавтов вели мои сотрудники. Тогда это была «штучная» работа. Вот я и сблизился с Гагариным, но это ничего не значило, в группе было десять человек, некоторые потом полетели, некоторые — нет, судьбы у них сложились по-разному. Но я его никогда не выделял среди всех других в аудитории.

Потом, когда его выбрали в качестве первого космонавта, мы с ним, естественно, часто встречались на полигоне. «Натаскивал» его не только я, был разработан мощный курс натаскивания: устройство корабля, устройство одной системы, устройство другой. . . И, кроме того, вечером перед полетом, одиннадцатого апреля — полет состоялся двенадцатого, — Королёв, который был гениальным психологом, приказал Феоктистову и мне еще раз проработать с ним полет: у Гагарина не должно было оставаться свободного времени на всякие ненужные раздумья перед запуском. В основном это делал Феоктистов, моя задача заключалась в том, чтобы разобрать с ним еще и еще раз, хотя он все знал прекрасно, аварийные ситуации, которые могли возникнуть, и проверить, как он из них будет выходить с помощью ручного управления.

Все это Гагарин понимал не хуже нас, и когда мы ему объясняли, только улыбался: вот, мол, болваны, твердят одно и то же, а я все это выучил назубок. . . Он обладал большим личным обаянием и ничего не боялся, плевал он на опасность, такой молодой! Я бы сказал, ему было не страшно, как не страшно альпинистам в горах, и последствия его не волновали. Волновались мы, когда он летел, следили за полетом, дождались, когда он благополучно сел, и перелетели на место посадки, чтобы посмотреть, как выглядит корабль на земле. А Гагарина уже увезли врачи. На следующий день состоялось заседание знаменитой Государственной комиссии по полету Гагарина, в нем участвовал и я, заслушивали его информацию. Он докладывал в подробностях, ему задавали вопросы, как вел себя тот или иной прибор, удобно ли управлять тем или иным устройством. Короче, обста-

новка была вполне будничная, несмотря на такой небудничный полет, нас ведь не покидала уверенность, что ничего не случится — так все отлажено, нормально работает, и собачки оставались живы, летавшие до него. . . Нас интересовали технические детали, а психологическими занимались врачи.

После того как Гагарин отчитался перед Госкомиссией, мы отдали его на растерзание журналистам, и потом я с ним встречался только на разных мероприятиях. Должен сказать, что я замечал — идет некоторое искажение его личности, правда, в очень слабой степени, так мне казалось. Я знал, что его заставляют пить по поводу и без повода, это ведь никогда не проходит безнаказанным. Но встречаясь, мы всегда тепло приветствовали друг друга, улыбались, я с удовольствием смотрел на него, хотя был наслышан, что, с одной стороны, он всех покори́л на приеме у английской королевы Елизаветы, где ему пришлось орудовать двадцатью пятью серебряными ножичками и вилочками, а с другой стороны, что ему нравилась заливчатская атмосфера, создаваемая вокруг него соотечественниками, своими в доску, еще бы, он — герой народа! И позже писали о нем кто во что горазд, в частности, что он (абсолютно пьяный) потребовал самолет для тренировки да еще посадил рядом опытного летчика-испытателя Серегина, поэтому оба погибли в результате такого лихачества. Глупее ничего нельзя было придумать. Они выполнили весь тренировочный комплекс, и когда пошли из пилотажной зоны, то сообщили по радио: задание выполнили, возвращаемся. Им ответили: ждем вас. . . И в эту минуту они погибли.

Что случилось с самолетом, почему он разбился, до конца неизвестно, проводились разные исследования, есть разные предположения. По одной из версий, там пролетал большой самолет, не буквально рядом с ними, однако они попали в его «след», и их перевернуло — из-за низкой облачности они не видели, на какой идут высоте, в каком положении самолет. Когда же заметили, что самолет не в том положении, в каком должен быть по отношению к земле, и стали выходить из него, им не хватило двух секунд, и они врезались в землю.

К Сергею Павловичу Королёву я попал в тридцать седьмом году, переехав в Москву из Ленинграда. Это не значило, что я поехал работать к Королёву, это также не значило, что я к нему мог попасть на работу вообще, хотя мы и были «шапочно» с ним знакомы со времени планерных слетов в Крыму. Я уже об этом упоминал. Но в Москве меня рекомендовал ему Федор Генрихович Гласе, цаговский работник, принявший почему-то горячее участие в моей судьбе. Он был у Королёва в то время консультантом и знал, что Сергею Павловичу нужен человек, занимающийся проблемами устойчивости, порекомендовал меня и сказал: «Если хотите, можете туда пойти». Конечно, хочу! Так, через Гласса и потом Щетинкова, о котором я уже рассказывал, я и попал к Королёву, стал у него работать, до сих пор у него работаю, хотя Королёва уже давно нет в живых. Конечно, выражаясь условно, потому что ничего не менялось. Судьба меня толкала туда-сюда, давала по шее, но сам я в ней ничего не менял: хотел пойти к Королёву и пошел, хотел заниматься авиацией и занялся ею еще в Ленинграде, все складывалось как бы само собой. Если посмотреть, то у меня редкостное везение. С детства, со школьных времен увлекаться Космосом, когда еще ничего не было, — и попасть в самый центр космических исследований! Я считаю, это исключительное везение. И тут мне повезло опять — у Королёва оказалось вакантное место, с тех пор я и не ухожу от Королёва.

Начиная у него рядовым инженером, собственно, еще студентом, без диплома, который получил только через год, я влился, как говорится, в небольшой коллектив, который в общем, с чертежницами, техниками и копировальщицами, насчитывал человек десять–двенадцать. У Королёва я и продолжил тему проблем устойчивости.

Сергей Павлович был лет на десять старше меня, человек эмоциональный и даже грубоватый. Но никакого особого впечатления на меня это не производило, поскольку поводов с ним ругаться у меня не возникало. Тем более что работал я в основном не с ним, а с его заместителем, с которым у меня сложились очень хорошие, теплые отношения. Королёв же, по воспоминаниям Марка Лазаревича Галлая, прекрасно понимал разницу наших с ним темпераментов и, несмотря на то, что его, может быть, чем-то даже раздражало мое спокойствие, очень уважал это свойство моего характера, хотя и жаловался тому же Галлаю: «Ничего не могу понять с этим вашим Раушенбахом, я ему что-то толкую, ругаю, а он стоит слушает, как ни в чем не бывало. Этаким христосиком! Хорош ваш друг!» Он действительно говорил обо мне — «христосик», было у него такое субъективное определение моей персоны. Надо сказать, я тоже понимал его сложную натуру и даже, может быть, раньше, чем окружающие, догадывался, что Королёв испытывал уважение и какую-то особую симпатию к сотрудникам (таких насчитывалось немного), которые не приходили в трепет от его начальственного гнева. Королёв мог на кого-то накричать, сказать: «Вон из кабинета!», но на меня он ни разу не повысил голос.

Еще в начале нашей совместной деятельности мне поручили ведение работ по крылатой ракете 212 с автоматом стабилизации, причем одним из моментов ее подготовки к летным испытаниям была продувка свободно подвешенной, полностью собранной ракеты с работающим автоматом в аэродинамической трубе ЦАГИ. Таким способом предполагалось в какой-то мере смоделировать условия реального полета и оценить степень согласованности теоретически определенных настроек автомата стабилизации с инерционными и аэродинамическими характеристиками ракеты. Это служит еще одним примером, иллюстрирующим неразрывную связь науки и инженерной практики даже на самых начальных этапах развития ракетной техники. Однако я вспоминаю об этом с совершенно другой целью.

Работы в чужой организации, носящие необычный для нее комплексный характер, всегда сложны, требуют увязки многих служб и сопряжены с преодолением массы мелких, но тем не менее существенных технических и организационных трудностей. Неудивительно, что я и откомандированная со мной в ЦАГИ бригада механиков столкнулись с этим при проведении одного из особенно сложных экспериментов, связанного с киносъёмкой колеблющейся в воздушном потоке ракеты.

Сергей Павлович, всегда считавший необходимым лично следить за ходом «узловых» экспериментов, приехав в ЦАГИ, мгновенно оценил обстановку и понял, что если все будет продолжаться в том же духе, то эксперимент с киносъёмкой скорее всего никогда не осуществится. Он мог обратиться к руководству ЦАГИ или «сообщить дополнительный импульс» непосредственному исполнителю, то есть мне, и избрал второй вариант, оставив, видимо, про запас посещение руководства ЦАГИ. Королёв вовсе не отругал меня, но нашел какие-то точные и впечатляющие слова, из которых я очень четко усвоил свою неполноценность и подсознательно ощутил, что если в

ближайшие двадцать четыре часа съемка не состоится, то в Москве произойдет некое стихийное бедствие вроде землетрясения. Полученный импульс оказался настолько велик, что скорость моих передвижений по территории ЦАГИ утроилась, и во мне ненадолго пробудились дремлющие во всяком человеке таланты Остапа Бендера. Когда я через сутки доложил о завершении этапа испытаний, связанного с киносъемкой, Сергей Павлович явно удивился, хотя и старался не показывать этого. Он ограничился сухой констатацией: «Вот видите, когда человек чего-то по-настоящему захочет, он этого всегда добьется». Этот почти анекдотический эпизод вспоминается сейчас по той причине, что хорошо передает одну из особенностей стиля руководства С. П. Королёва: ничего не делать за исполнителя, не водить его, как маленького ребенка, «за ручку», всячески развивать в своих подчиненных ответственность, самостоятельность, инициативу и стремление выполнять запланированные работы в полном объеме и в самые сжатые сроки.

Работа у Королёва полностью меня поглотила, мы занимались делами, которыми до нас никто не занимался, поэтому не имели никакого накопленного опыта, и нельзя сказать, выше или ниже моих возможностей была открывшаяся передо мной перспектива. Обычные понятия для этого не годились, поскольку не существовало нормального уровня и нельзя было понять, как надо на самом деле. Просто работали, как получалось. Могу — не могу, мне это в голову не приходило, я считал, что все под силу.

Каждый день из центра Москвы я добирался в Лихоборы — район нынешнего Коптевского рынка, но чуть дальше, за окружной дорогой. Ехал трамваем, и вместе с пешим путем дорога занимала больше часа — обычное по московским меркам время. По характеру работы члены нашего коллектива не были связаны очень тесно, каждый занимался своей темой, вернее, они были родственными подтемами одного крупного замысла. Не знаю, как определить точнее, но работали мы все-таки каждый в одиночку, хотя общая большая тема была — ракетная тема.

В отличие от провинции, в Москве всегда имелись связи с крупными московскими научными центрами — университетом, ЦАГИ. Если требовалось провести какой-нибудь эксперимент в ЦАГИ, то я отправлялся туда и месяц трудился по нашей теме на их установках, на их трубах. Или заказывал какое-нибудь исследование университетскому сотруднику — с отдельными сотрудниками мы смыкались, то есть не напрямую с университетом, а косвенно. Некоторые темы поручали разработать группе сотрудников университета, но это было до меня, когда я пришел к Королёву, мы это дело прикрыли: взяв отчеты, я убедился, что платим деньги, мягко говоря, жуликам. К примеру, в университете нашли иностранный источник, переведенный на русский язык, и просто все «сдули» с него, заменив слово «самолет» словом «ракета». Литературы такого рода было тогда очень немного, я успевал все прочитывать и поймал их на плагиате: они слегка причесывали текст, слегка наводили, как говорится, косметику, но, по существу, их работы ничего нового не давали в смысле ракетной техники.

Не скажу, что на фирме Королёва тогда сложился особо сильный коллектив. Все что-нибудь «тянули», каждый свое, но блеска не было и до «посадки» Королёва, и после его «посадки». При нем работа двигалась его энергией и его указаниями, двигалось все и после него, потому, что, когда работает коллектив, исчезновение одного человека мало что, меняет.

Работа продолжалась, пока тему не закрыли «сверху», и тогда мы стали разрабатывать другую тему.

Вообще я привык работать сам по себе, в науке это и нормально, и ненормально. Нормально, если в этой области больше никто не работает, и ненормально, если в ней работают многие; и вот если работают многие, а я плыву сам по себе, так нельзя. Если же ты работаешь один, то на других смотреть нечего. Не только я работал самостоятельно, другие тоже, каждый по своей части ради одного результата. Всегда обменивались мнениями, много обсуждали, без конца разговаривали, но не было такого, что похожей темой кто-то занимается в другом месте, и мы собираемся и проводим конференцию. По нашей тематике к таким формам работы стали прибегать позже.

Генерировали все, каждый в меру своих сил, но, конечно, работа была рутинная — я имею в виду себя. Всякий успех радовал, случались и неудачи, это же эксперименты, да еще какие, со взрывоопасными элементами. Мы были государственной организацией с государственным планом, с военной приемкой, работали в основном на всяких испытательных стендах, где все проверялось. Проводились и испытательные пуски на полигоне в Софрино. Не знаю, существует ли этот испытательный полигон сейчас. Приезжали, ставили установку, садились в укрытие, запускали ее, она срабатывала или не срабатывала. А потом начинались разборки. На этапе до сорок первого года, пожалуй, было больше неудач, «правильных» неудач, шла отработка. Сначала наше министерство называлась министерством оборонной промышленности, потом оно поделилось и выделило министерство боеприпасов. Я был в то время рядовым инженером, не суперсекретным, но о своей работе ни с женой, ни с соседями не беседовал. И позже, когда летел на запуск, говорил, что еду в командировку, семья никогда ничего не знала, и мне сильно влетало от моей половины за то, что она узнает обо всем от жен других сотрудников. Значит, там пробалтывались. А я рассуждал так: проще ничего не говорить, чем запоминать, что соврал и что не соврал, а то заврешься. Если нельзя говорить правду, лучше не врать. И я предпочитал просто молчать.

Друзья и тогда считали меня очень спокойным человеком, я действительно никогда не воздевал рук к небу, не сокрушался, не возмущался, был вполне уравновешенным субъектом. Поэтому еще в Ленинградском авиационном институте заслужил прозвище «невозмутимый ариец». Надо сказать, когда я учился, к власти в Германии пришли гитлеровцы, которые считали очень важным арийское происхождение. Понятие «ариец» тогда означало, во-первых, немец, во-вторых, — чистокровный. Благодаря своему происхождению и спокойствию я и заслужил это прозвище. В школе, как я уже говорил, меня называли «Пушка», а в институте — «невозмутимый ариец».

Конечно, к Германии у меня было несколько иное чувство, чем к другим зарубежным странам. Но особо меня к ней не тянуло. Чувствовал большую близость, чем, например, к Франции и Англии, просто потому, что теоретически я все-таки происходил оттуда, мой отец учился в Германии и кое-что о ней рассказывал. Несколько лет назад я побывал в Эссене и попытался найти то училище или тот техникум по кожевенному делу, где учился отец, но оказалось, что это заведение расположено не в Эссене, а под Эссеном, в часе езды. Его я так и не нашел, но убедился, что в те годы оно

существовало.

Если вернуться к моему характеру, то я никогда не настраивал себя на спокойствие и невозмутимость, я был таким на самом деле, нудным человеком. Меня многое бесило и раздражало, но на фоне других, которые остро реагировали, я выглядел абсолютно хладнокровным. Я раздражался реже, не так сильно, и во многих случаях, когда других людей прямо-таки взрывало, у меня нервы не сдавали. Это не бесстрашие, а врожденная выдержка, наверное, генетически обусловленная. Не помню, чтобы отец и мать когда-нибудь ссорились, и, безусловно, это повлияло на мое воспитание, помогло в крутых ситуациях не терять головы.

Вспоминаю, как однажды в ходе последних предстартовых проверок выяснилось, что корабль «Восток-6» упорно ориентируется «не туда». Я доложил Королёву и, конечно же, выслушал довольно эмоциональные комментарии по этому поводу. Легко было запаниковать, но помогла и моя «занудность», и догадка, вдруг меня озарившая: не иначе, на заводе установили датчики угловых скоростей задом наперед. Так и оказалось — потом рассказывали, что когда устанавливался этот блок, шел какой-то очень ответственный хоккейный матч, поэтому при монтаже отсутствовали цеховой мастер, контролер ОТК и военпред. Никакой интуиции я не проявил, просто показал элементарное знание техники и умение сохранить в нужный момент необходимое самообладание. Я сообщил, что прибор поставлен задом наперед, откройте, увидите. . . Открыли и увидели. Человек, который этим занимается, всегда знает, почему произошла ошибка и где ее искать, никакого великого открытия тут нет.

С. П. Королёва и В. П. Глушко (основоположник советского ракетного двигателестроения) арестовали по доносу летом тридцать восьмого года. Соответствующее письмо в партком (скорее всего по собственной инициативе) написал А. Г. Костиков, впоследствии незаслуженно получивший звание Героя Социалистического Труда за создание гвардейских минометов, названных в народе «катюшами», за работу, к которой он фактически отношения почти не имел. После ареста Королёва работы по автоматическому управлению ракетами с жидкостными ракетными двигателями были прекращены, меня как молодого специалиста «бросили» на другую, ставшую актуальной тему: устойчивость горения в реактивных двигателях. Эта тематика была для меня основной до середины пятидесятых годов.

Я никуда не лез, поэтому врагов у меня было мало и они были очень малоактивными. Дело в том, что враг требует постоянной подпитки, то есть я должен сопротивляться, возражать ему, тогда он заводится, что-то изобретает, начинается борьба. А я плевал на подобные отношения, поэтому со мной было неинтересно враждовать, что толку-то? Я их и врагами бы не назвал, а скорее недоброжелателями. Находились люди, которые выражали недовольство: вот, мол, выскочка, чего всюду лезет — это я фантазирую от их имени. Но такие люди всегда и везде есть. А так как я не занимал никаких постов и от них отказывался, им очень трудно было под меня подкопаться.

Отказывался я от постов не потому, что такой принципиальный, а потому, что не умею руководить коллективом, у меня характер не тот. Даже когда был начальником, не мог ничего приказать, если видел, что человеку что-то не хочется делать. Там, где другой рыкнет, и подчиненный немедленно побежит исполнять приказ, я уговаривал два дня. Это же не

руководитель! Я никогда не мог прикрикнуть на человека и сейчас не могу. Подчиненные про меня говорили, что если бы Борису Викторовичу да характер Веры Михайловны (моей супруги), то все было бы в порядке. Не умею я кричать, мне как-то стыдно, неудобно. Я не считаю, что мои коллеги должны быть созданы по моему образу и подобию, и переделывать их не умею. И если мои приказания подчиненными не выполнялись, то я всегда делал за них. Самый худший вариант, я это признаю.

Королёв был совсем другим. Работать с ним было трудно, но интересно. Повышенная требовательность, короткие сроки, в которые он считал нужным завершить очередное задание, и новизна, таящая в себе не только приятные неожиданности, — все это заставляло работающих с ним находиться в постоянном сильнейшем нервном напряжении. Он всегда хотел до тонкостей знать проблемы, которые решали его сотрудники, докладывая ему тот или иной вопрос, я нередко слышал: «Не понял, повторите». Это «не понял» не каждый руководитель мог бы себе позволить, боясь уронить свой авторитет в глазах подчиненного. Но подобные человеческие слабости были совершенно чужды Сергею Павловичу, дешевый внешний авторитет, так любимый некоторыми, лишь мешал бы ему работать.

Приблизительно в пятьдесят пятом году меня вновь привлекли к работам, которые вел С. П. Королёв, и снова как «управленца». Речь шла о разработке систем управления ориентацией еще не существовавших тогда космических аппаратов. Но как изменилась с довоенного времени обстановка! Если в тридцатые годы большинство людей считали некоторых мечтавших об освоении космоса редкими чудаками, то теперь уже никто не сомневался в реальности создания космических аппаратов в ближайшие годы. Изменилось и положение Сергея Павловича. Проработав в годы отсидки сначала на Колыме, а потом в «шарашке», теперь он стал руководителем большого, уже имеющего крупные заслуги конструкторского бюро. Не изменился только он сам. Более пятнадцати лет мы с ним практически не встречались, и я, имея возможность сопоставить двух Сергеев Павловичей, донял, что изменившийся размах работы не изменил самого стиля его деятельности — четкости, организованности, увлеченности и способности увлекать других.

Он никогда не рассказывал, где и как сидел, мы никогда с ним не обсуждали эту тему. Думаю, это было инстинктивно.

Теоретически мы могли сказать друг другу: когда я сидел в лагере, когда ты сидел в лагере. . . Могли бы, но не говорили. Его посадили раньше меня, и вышел он раньше, работал, как я уже сказал, где-то в «шарашке», жизнь у него складывалась по-всякому. Но нам бы не доставило удовольствия вспоминать о тех временах и о них беседовать, даже в неофициальной обстановке, когда он мог позволить себе рюмочку-другую — это, разумеется, ничего общего не имело с пьянством, но иногда Сергей Павлович любил выпить. Не так, как некоторые его заместители, — те постепенно становились алкоголиками. У него же ничего подобного не было. Нравилось ему, к примеру, возвращаясь с каких-нибудь торжеств, обычно проводившихся в одном из ресторанов на ВДНХ, пройтись пешком по всей территории Выставки (а мы жили с ним по соседству), сопровождая мою жену и «разговляя» с нею по-украински — ведь родом Сергей Павлович был из Житомира. Однажды во время такой прогулки до дома через всю Выставку, — а Выставка была тогда чистой, благоустроенной, красивой, в цветах и зелени,

а не в торговых палатках, — моя жена пожаловалась Сергею Павловичу на свое начальство в Историческом музее: не дают ей «светочи разума» организовать экспозицию как должно, настаивают на активном показе советского периода, который и без того щедро представлен в Музее революции и Музее Ленина. «Ты думаешь, мне легче? — ответил ей Сергей Павлович. — Стараясь набирать к себе толковых ребят, но попадают и дураки, как у тебя, и подлецы, и я, по советским законам, ничего не могу с ними сделать, не могу от них избавиться. Но когда приходит требование из Министерства (речь шла о министерстве общего машиностроения, к которому тогда относилась фирма Королёва), то я отдаю их туда, а там они быстро выходят в начальство, распускают пузо и руководят мною, мне же дают указания. . . » Если Королёв и рассказывал о себе, то в основном какие-то забавные истории — ведь происходит подсознательный отбор, когда говоришь о себе. Ни лагерь, ни тема лагеря его и меня как бы не интересовали и в этот отбор не попадали. О своей личной жизни он вообще ни с кем не говорил, был довольно замкнут, без лирики, хотя я знал, что он расстался со своей первой женой. Ну и что? Люди женятся, расходятся, никакого ажиотажа вокруг этого не наблюдалось. Евгений Сергеевич Щетинков, его заместитель, о котором здесь уже многое мною говорилось, человек основательный, неторопливый, даже в чем-то медлительный, но всегда добирающийся своего, давно был влюблен в первую жену Королёва Ксению Максимилиановну. Сначала она не хотела выходить за него замуж, надеясь, что Королёв к ней вернется, — красивая, стройная женщина с белоснежными волосами и ярко-голубыми глазами, врач-хирург, она не могла примириться с его уходом. Но в конце концов они все-таки поженились, жили дружно, воспитывали дочь Сергея Павловича Наташу, которая все время была при матери. Помню, когда Щетинков защитил докторскую и по этому поводу устроили в их доме прием гостей, Ксения Максимилиановна подчеркнуто представляла собравшимся: «Моя дочь, дочь Сергея Павловича Королёва». . . Сергей Павлович как раз тогда был особенно знаменит и в большом фаворе у правительства. Наташа тоже стала хирургом, как ее мать, один из ее сыновей невероятно похож на Сергея Павловича.

В последние годы жизни Королёва явно «зажимали» — первые и столь яркие успехи в космосе сразу привлекли много желающих подвизаться на этом поприще, «отхватить» орден, получить высокое звание, иметь возможность выдвинуться. Крупная, мощная фигура Сергея Павловича многим была не по нутру, поэтому мы особенно старались продемонстрировать наши успехи, четкое выполнение замыслов Главного конструктора, иначе — и это теперь ни для кого не секрет — эти замыслы могли и перехватить.

Однажды в разговоре со мной он мимоходом заметил, что все нужно делать быстро, потому что нам, мол, уже недолго осталось, хотя он был полон жизни и о смерти не думал, как всякий здоровый человек. Его желание делать как можно быстрее диктовалось двумя причинами: первая — соревнование с Америкой. Надо подчеркнуть, что он всегда хотел опередить американцев, это было и патриотическое чувство, и спортивное, смесь того и другого. Вторая причина его беспокойства — сознание, что жизнь вообще коротка и что осталось ему от силы десять творческих лет, а нужно успеть на Луну скатать, и успеет ли он? То есть надо успеть, пока он может физически, до наступления старости, пока не иссяк его творческий потенциал. Он понимал, что в семьдесят лет уже не будет таким плодотворным, а ему

уже было где-то под шестьдесят, если не шестьдесят.

Считаю, что главным у Королёва было не то, что он что-то придумывал или изобретал. Я в свое время долго размышлял о Королёве, фон Брауне и всех тех людях, которые действительно совершили крупные открытия, я бы сказал, открытия общемирового значения, и думал, как их назвать одним словом: великий ученый, великий инженер? Все это ерунда. Великих ученых много, много и великих инженеров, а эти люди были явлениями уникальными. И я не придумал лучшего слова, чем полководец. Если я, человек совершенно иного склада, могу представить себя начальником штаба, но никак не полководцем, то Сергей Павлович был именно полководцем в освоении космической техники, по-моему, это самое точное определение, я могу, например, представить себе Королёва в маршальском мундире, командующим фронтом. И мечтал он, конечно, о большем, нежели запуск в космос человека, он мечтал о покорении Космоса в широком смысле слова. Не одного человека отправить, а много людей, создать на Луне несколько баз, слетать пилотируемым полетом на Марс. . . Мало ли что можно придумать. Все это его очень интересовало, он старался сделать как можно больше и быстрее, поэтому и говорил мне: нам с тобой осталось немного. То есть нельзя ничего откладывать на столетие. Не чувствовал смерти, но понимал, что нужно все делать очень быстро, по сравнению с задачами времени отпущено не так много.

29-го или 30-го декабря 1965 года мы отмечали юбилей его заместителя Цыбина. Ну, юбилей как юбилей, скучища, конечно; я сидел рядом с Комаровым, которого очень ценил за интеллигентность и талантливость, мы долго с ним беседовали, наконец юбилей кончился, и все вышли на улицу. Происходило это не в Москве, а в Подлипках, зима, холодно, и Королёв распорядился, чтобы собрали все машины, которые только есть, чтобы развезти людей по домам, потому что большинство жили в Москве. А меня с женой и Тихонравова с Ольгой Константиновной он захотел посадить в свою машину, сказал: «Вы поедете со мной».

Пока Сергей Павлович распорядился, к нему подошел сын Цыбина, только что кончивший институт. Мы стояли рядом и слышали, как он произнес: «Сергей Павлович, я кончил институт и хотел бы все-таки к вам на работу», на что Королёв ему ответил: «Я — Сергей Павлович и ты — Сергей Павлович. Знаешь, я сейчас ложусь в больницу, очень ненадолго, дней на десять—двенадцать. Ты после этого приходи ко мне, я тебя определю. Но имей в виду, я тебя определю в цех, и ты должен пройти тоже весь мой путь от начала до конца. Пока по-настоящему не станешь Сергеем Павловичем».

И он лег в больницу. Во время операции выяснилось, что у него запущенный рак, самый страшный вид его, саркома, — а начали его оперировать по поводу какой-то доброкачественной ерунды. Врачи ничего не знали об этом, биопсию взяли неточно, все выяснилось в процессе, и хирург вынужден был приостановить операцию и вызвать специалиста, потому что не ожидал увидеть той картины, которую увидел. Некоторое время Королёв лежал разрезанный и ничего с ним не делали, потому что врач не хотел брать на себя такую большую ответственность. . .

Помню, как Королёв назначал нам совещания на те дни, когда уже собирался выйти из больницы, помню, как мы к нему ездили туда перед операцией и обсуждали планы; он говорил, что выйдет такого-то числа, в больнице пробудет дня три—четыре, давал нам поручения со сроками исполне-

ния. . . В день, когда он умер, в школе у наших дочерей было родительское собрание, и я договорился встретиться там с Верой Михайловной. Она рассказывает, что увидев, как я мечусь по школьному коридору взад-вперед, взад-вперед, спросила: «Чего ты мечешься?», а я ей ответил: «Только что умер Королёв. . . » Это было для всех нас ударом, потому что он ушел буквально на лету. Нельзя представить себе, что было бы, если бы Королёв остался жить. Его уход был тяжелой потерей для ракетно-космической техники. Многие он умел лучше других — и пробивать, и организовать. Если бы он остался жить, мы бы сделали больше.

Ушел полководец, и армия стала менее боеспособной. . .

Уже после смерти Королёва началась моя «академическая стезя». Сначала меня избрали членом-корреспондентом, это довольно сложная процедура: тебя выдвигают кандидатом, потом выбирают тайным голосованием, например, из ста человек — трех. Для этого кандидат, то есть я, должен быть известен своими работами, книгами, статьями, развитием направления в науке. Затем я должен быть известен разработками каких-то конструкций, которые и в космосе создают совершенно новое направление. То есть при приеме в Академию наук никакого автоматизма нет и быть не может.

К тому времени у меня были уже книги, а также работы, 80% из которых, к сожалению, остались закрытыми. Академики, избравшие меня, знали об этих работах и тоже имели их в виду: они издавались типографским способом, но очень маленькими тиражами по причине их высокой секретности, использовались строго специально — на каждой стоял штамп «секретно» и номер, нумеровался каждый экземпляр. И почти ни одна из этих моих работ не увидела света. Я как-то попытался составить их список — с учетом закрытых работ набралось больше сотни за всю мою жизнь, — но потом бросил. Дело в том, что и список-то не мог быть открытым, так как работы нельзя было назвать. Сейчас можно, конечно, собрать комиссию, составить акт о разрешении публикации, потому что мои работы того времени уже потеряли свою секретность, техника ушла вперед, и они — не скажу, что устарели, — но уже не соответствуют современному уровню. Но, думаю, они, скорее всего, уничтожены, поскольку, по правилам секретного делопроизводства, подобные документы через некоторое время уничтожаются. Представьте себе специальное хранилище, куда все время приносят папки машинописных экземпляров, каждый год десятки и десятки таких папок. Когда эти папки уже некуда ставить, их уничтожают. Есть правила — через сколько лет, все по этим правилам и происходит. И никаких обид, надо всегда помнить, что работа тогда интересна, когда она только что написана — я имею в виду работу технического характера, исследования.

Так вот, ко времени моего избрания в Академию наук уже удалось осуществить проекты «Марс», «Венера», была разработана система «Чайка», шло освоение в космосе сборки и стыковки кораблей «Союз». Во всем этом я принимал самое непосредственное участие. Проект «Марс-Венера» был многоступенчатым в том смысле, что до него запускались зонды, о которых я уже упоминал и которые просто уходили в космос. Там ставились совершенно иные технические задачи, чем у спутников Земли, и решать их следовало иначе. Как всякая новая задача, меня это особенно привлекало, привлекала и близость, досягаемость Марса и Венеры по сравнению, скажем, с Меркурием или Юпитером, ибо долететь до них очень тяжело.

К проекту «Марс-Венера» был чисто научный интерес, его можно назвать экспериментом в чистом виде. Другое дело, что люди говорили — может быть, человечество со временем будет расселяться по всей Галактике, а от Земли близко находятся только Марс и Венера, ведь интересно, что там? И эксперимент не завершился, он идет до сих пор, это, я считаю, вечная тема, и на первых его этапах я очень активно работал. Вот если бы полететь за пределы Галактики!.. Но это немыслимо, потому что в такой полет укладывается жизнь не одного поколения. Думаю, со временем люди найдут другие способы, к примеру, оптические, ведь не обязательно двигаться, не обязательно перемещение твердого тела. Жизнь не остановится в научном смысле, «е. ж. б.», как писал Лев Николаевич Толстой — «если живы будем».

Условное название «Чайка» — это наименование систем управления, которые мы делали для космоса. Надо сказать, что на секретных объектах системы называются странными именами, кодами, чтобы о них можно было хотя бы по телефону говорить открыто. Если я скажу, что такая-то система не работает, то это будет выдача секретных сведений, а если говорить, что система «Чайка» не работает, то здесь ничего секретного нет, черт ее знает, что за система? Подобные условные названия бывают совершенно удивительными, кто придумал эту «Чайку», я уже не помню, но пошло — «Чайка-1», «Чайка-2», «Чайка-3» и так далее. Просто шифр, несекретное название секретной системы. Я сидел над «Чайками», а рядом человек работал над каким-нибудь «Динозавром» или вроде того. Может быть, уже существует «Чайка-125», я не в курсе.

К тому времени и Королёв, и все мы понимали, что в космосе нужно иметь большие объекты в десять, двадцать тонн. Сейчас вес перевалил за сто тонн, такой большой стала станция. Когда полетел Гагарин, он был один, один летчик в космосе это легко. А сейчас, когда на станции несколько космонавтов живут и работают месяцами, то есть целый дом плавает в космосе, вывести его на орбиту носителем трудно, потому что носитель не может увеличиваться беспредельно. Поэтому Королёв решил, что крупные объекты мы будем собирать на орбите по частям, начал отрабатывать сборку в космосе, но не успел, умер. Продолжили мы, уже без него.

Для того чтобы иметь в космосе любую массу и решить целый ряд проблем, нужно создать станцию, регулярно доставлять туда пищу, воду, горячее, все необходимое, решить транспортные проблемы. А для всего этого разрабатывается система сближения и стыковки. Поскольку корабли должны соединяться, их решили назвать «Союзами», так пошла серия «Союзов». Для осуществления стыковки, точного попадания в узел на них устанавливаются системы дальнего и ближнего сближения, система причаливания, то есть все довольно сложно, но по-другому не получалось.

Ясно, что старые «Востоки» для этого не годились, поэтому и разработали специальный корабль, который мог подняться в космос, состыковаться, обеспечить переход из одного отсека в другой. Решили совершенно правильно, что сначала надо запустить один «Союз», если все пройдет успешно, запустить другой, чтобы они состыковались. И вот в качестве первого одиночного корабля запустили «Союз» с Комаровым; был готов и второй корабль, который поднимется ему навстречу. Но, к сожалению, когда комаровский «Союз» вышел на орбиту, обнаружились неполадки на борту, и выполнить запланированную работу из-за обнаруженных дефек-

тов оказалось невозможно. Значит, задуманная программа прекращается и производится посадка. Программы аварийного спуска готовятся задолго до полета, так что космонавтам заранее все ясно и понятно, никакой паники никогда не возникало — не получилось в первый раз, получится во второй, в третий, через месяц, и все шло, как и положено идти по плану. Все понимали, что необходимо произвести посадку корабля Комарова, его и посадили. Отказала парашютная система уже на земле — не буду повторяться.

Второй «Союз», беспилотный, запустили довольно скоро, и стыковка прошла нормально, хотя технически это довольно долгое дело, она начинается с расстояния в тридцать километров, маневры сближения, сначала дальнего, потом близкого, причаливание — теоретическая сущность всего этого здесь ни к чему. Короче говоря, корабли сближаются и тормозятся так, чтобы не удариться сильно, при этом в конце получается скорость, которую может выдержать узел. Они подходят друг к другу точно узел в узел, втыкаются, срабатывают соответствующие устройства типа замков, происходит стяжка, система запирается и соединяет переход, по которому можно перебраться из одного корабля в другой. Это была одна из моих работ.

Каким знаком — плюсом или минусом — можно определить глобальное освоение космоса? На мой взгляд, конечно, плюсом. Любое дело, разумеется, можно запороть на минус, это не трудно, но если широко обобщать все, сделанное нами в космосе, то это не просто плюс, это огромный плюс. Мы сейчас даже не замечаем прямых телевизионных передач из Америки, Австралии, не думаем о навигационных системах, которые «пасут» корабли и подводные лодки, а ведь все это управляется только через космос. Кроме того, космос дает очень много народному хозяйству. Если сопоставить расходы и доходы, то можно сказать, что космос себя как бы оправдывает. И мне сейчас непонятно, выиграем ли мы, если будем экономить средства и прекратим работать над тем, что уже создано нами в космосе, или, наоборот, проиграем?.. Предполагается — и американцы особенно на этом настаивают, — летом девяносто девятого года уничтожить станцию «Мир». Считаю, что она еще может послужить. Но что значит — послужить? Требуются большие затраты, не надо думать, что летающая в космосе станция нам уже ничего на данный момент не стоит. Запустили, мол, и пусть себе летает, есть не просит. Ничего подобного, просит! На нее продолжают тратиться громадные деньги, возьмите хотя бы станции наблюдения, где люди получают зарплату и требуется много средств на оборудование. Значит, ежедневно орбитальная станция обходится стране в большие деньги, которых у нас нет, их расхитили. Отсюда поспешный вывод: лучше станцию затопить. Останутся спутники связи и прочее, о чем я уже говорил.

С моей точки зрения, пилотируемые полеты — самая глупая затея в космосе, а орбитальная станция — это пилотируемая космонавтика. Я считаю, то, что нужно сделать в космосе, лучше всего сделают автоматы. Возьмем хотя бы такой пример: человек должен спать, отдыхать, питаться, он постоянно выключается из работы, его КПД — всего несколько часов в сутки. Автомат же трудится все двадцать четыре часа, ему не нужно ни пить, ни есть, он может летать на любых высотах, а человек — в узенькой прослойке не выше четырехсот (там опасная радиация), не ниже двухсот с чем-то километров. Пилотируемые полеты — это больше эмоциональное, чем деловое предприятие, всю работу выполняют все равно автоматы. Но эмоциональ-

но, конечно, важно, что полетел человек, мы слышим его голос из космоса, он проводит там биологические и другие опыты, то есть делает то, что ему нужно, а не то, что всем людям нужно. Очень мало можно перечислить работ, которые человек может выполнять в космосе, а автомат не может. Очень мало! Поэтому неудивительно, что основная — и огромная! — работа в космосе выполняется автоматами. Раньше фиксировалось: запущен космический аппарат-27, потом — 28. К сегодняшнему дню их слетало уже за тысячу — и эта тысяча аппаратов делала что-то полезное, только мы об этом почти ничего не знаем.

Если не будет пилотируемых полетов, наука от этого ничего не потеряет, но мы уроним свой престиж. Ну, и потеряем небольшое количество денег — француз полетел, индус полетел, — которые никоим образом не окупают всех затрат, просто поддерживают в некотором смысле наш престиж в международных отношениях.

Вообще космонавтика сейчас становится настолько дорогой, что одна страна поднять ее не может, я имею в виду пилотируемую космонавтику. Почему бы, к примеру, американцам в одиночку не создавать, не монтировать новую космическую орбитальную станцию? Почему бы этого не делать англичанам, французам? Денег нет. Если во времена Гагарина полет стоил сравнительно дешево, то сейчас стоит немыслимо дорого, поэтому только международные космические программы имеют шанс на существование, поэтому и у нас, и у американцев наступает в этом смысле новый этап, мы начинаем работать сообща.

Человечество вышло туда, куда оно стремилось выйти, и этот процесс неостановим.

Глава 5

После смерти Сергея Павловича Королёва я продолжал работать в его фирме, но мне стало немного скучно. Первые десять, ну, может, пятнадцать лет, когда мы работали в областях, в которых до нас никто не работал и где никто ничего не знал, было необычайно интересно и увлекательно. А через двадцать лет, когда за плечами — тысячи пусков, все начало приедаться. Манило только то, что было в новинку, а когда новизна исчезла, азарт пропал, я по-прежнему работал на космос, но основные мои интересы уже лежали в иной сфере.

Года через два после смерти Королёва я ушел из фирмы и стал преподавать — это была, так сказать, официальная сторона моей деятельности. Сначала, еще при его жизни, преподавал на физтехе Московского государственного университета, а потом уже на Долгопрудной, когда факультет выделился в специальный институт. Я читал лекции еще при жизни Королёва, но окончательно перешел в институт после того, как его не стало. Наступил конец спортивно-романтической эпохи в космосе; для себя в свое время я поделил всю космическую деятельность на полет мечты и фантазии, спортивно-романтическую эпоху, нормальную инженерную деятельность. Когда началась нормальная инженерная работа, мне стало скучно, и я рванул, смотался. Ведь без романтики вряд ли что имеет для меня смысл. Но романтика умирает медленно, не сразу кончается, образуется некое пространство, в это пространство залезает нечто другое, чем я начинаю заниматься параллельно с прежним делом, и так у меня происходило всегда.

Если уж проводить параллели, то можно сказать и так: вот я женился, у меня изумительная молодая невеста, прекрасная молодая жена. Что будет через десять лет? Исчезнет юношеская эйфория, одержимость влюбленности, чувства войдут «в берега». Нормальная жизнь, все успокоилось и пошло своим чередом, как и полагается в природе. Вот так я воспринимаю романтику и в любой профессии, как период острой влюбленности, которая неизбежно входит в свои берега.

Подобное произошло со мной, когда я начал заниматься искусством, еще продолжая активно силой работать в области ракетной техники. Искусство поначалу казалось мелочью, интересной мелочью в моей жизни — я имею в виду профессиональную жизнь, в обыденной жизни каждого здравомыслящего человека искусство занимает всегда большое место, — но постепенно эта мелочь стала увеличиваться, разрастаться и «съела» интерес к космосу. Но вот что забавно: все, чем я стал заниматься в искусстве, было связано

с космосом, который мне осточертел, как не знаю что. И я углубился в дебри искусства безболезненно и естественно, не чувствуя, упаси Бог, никакой депрессии или дискомфорта при этом переходе. Просто потеря интереса к одному и проявление интереса к другому — мягкое перевоплощение. Сначала это «другое» держится как бы на свободных мощностях, когда у меня башка не занята основной работой и я сознаю, что это «другое» — не главное, второстепенное, хотя и небезынтересное, но все же не то, чем я должен заниматься. Но постепенно «другое» становится тем, чем я должен заниматься безотлагательно, а то, что я делал раньше, кажется мне уже второстепенным. Никогда это не имеет характера решений: я вот сидел, долго думал и решил, что с завтрашнего дня буду заниматься искусствоведением. Ничего подобного!

Повторяю, я еще весьма активно занимался ракетной техникой, зондами и прочим. Помню, как мы следили за погружением первого зонда в атмосферу Венеры, надеясь, что там есть жизнь. По мере погружения зонд сообщал нам ее температуру, сначала верхнего слоя — температура отрицательная, так и должно быть в атмосфере, мы очень довольны, потом нулевая температура, потом плюс один, два, десять, мы улыбаемся. Потом плюс двадцать — мы счастливы, потом вдруг тридцать, сорок, пятьдесят, наши лица вытягиваются, мрачнеют, и когда зонд сообщил какую-то огромную плюсовую температуру, мы были совершенно убиты. Там жить нельзя. Все. Вроде надо радоваться, что эксперимент удался, а у нас совершенно похоронный вид, потому что все мы надеялись, что Венера и Марс, самые близкие планеты к Земле, не обманут наших ожиданий, что на них мы найдем что-то. В особенности верилось в Венеру, потому что там много воды, облаков, и мы обнаружим, конечно, не бородатых венерианцев, не динозавров — какие-нибудь бактерии по крайней мере. А на этой планете такая температура, что все сваривается. Может быть, в этих условиях есть образцы жизни, мы не знаем, но это вполне вероятно, хотя бы потому, что существует же жизнь в Арктике при температуре большого минуса, и человек, который с этим никогда не сталкивался, скажет, что вода при данной температуре превращается в лед и жизнь там невозможна. Вроде все научно доказано, но вот белые медведи живут и не замерзают, живут и некоторые микроорганизмы. Однако не сразу это приходит в голову. Так что все возможно и на Венере.

Уточню еще, почему я изобрел название «спортивно-романтическая эпоха». О романтике я уже сказал, а спортом называл соревнование с Америкой, которое в то время проходило особенно остро. Причем соревнование это было и политическое, но нам было не до политики, нас интересовало соревнование разработчиков. У них мыслили разработчики, и у нас они мыслили, и вот, не вступая в прямой контакт, мы изредка обменивались информацией на ученых конференциях и при этом старались — и они, и мы — все-таки обойти друг друга. Очень увлекательно. И до сих пор увлекает. Не потому, что у них одно правительство, а у нас другое, тогда и у них принимали решения, и у нас ЦК требовало «животы положить» на алтарь Отечества. То был спортивный интерес, всегда приятно кого-то обставлять. Когда мы начали отставать, я, к счастью, уже ушел из этой сферы деятельности, но от первых десяти лет у меня осталось определенное ощущение, что американцы — слабаки. В последние годы мы уже чувствовали, что они нам «дышат в затылок», но когда они полностью нас обставили, я уже прямого

отношения к космосу не имел. А насчет «дышат в затылок» есть хороший анекдот: как-то на одном из совещаний в ЦК партии кто-то из руководителей космических программ сказал: «Да, надо нам приналець с новыми силами, потому что они нам уже в затылок дышат». Тогда возмущенный чиновник, который вел совещание, парировал: «Как так они? Это мы им в затылок дышим!» Так что, выражаясь красивым слогом, я ощутил горечь поражения, уже значительно отойдя от космических проблем. Тем более это не было такой уж горечью, я знал, что поражение неизбежно, потому что наши финансовые возможности несопоставимы с американскими. Первые шаги в космосе требовали сравнительно дешевых денежных затрат, а когда начались полеты в космос человека, в особенности к Луне, американцы нас не обошли, нам просто не хватило средств. У страны не оказалось денег, когда дело дошло до очень мощного развития космических разработок, и это не явилось неожиданным ударом. Если американцы могли бросить на запуск столько-то миллиардов долларов, то нам подобное не снилось, зачем было и болтать попусту! Полет на Луну человека обошелся Америке в такую астрономическую сумму, что ой-ей-ей, но они на это пошли, потому что им деваться было некуда, они должны были до нас доплунуть: первый спутник наш, первый человек наш, что дальше? Первый человек на Луне. Вот здесь они взяли реванш. Доплунули. Поставили себе задачу за десять лет осуществить эту программу, вложив в нее бешеные деньги. У нас такое задание тоже в принципе поставили, но только на словах, денег ни копейки не дали. Просто сказали, что надо, мол, полететь на Луну и так далее, но только потом стали выделять деньги, причем в малых количествах. И правильно, нечего тратиться на всякую ерунду. Американцы походили по Луне и возвратились обратно, не сделав никаких особых открытий, это была демонстрация флага.

То, что увлекло меня после космоса, но толчок, повторяю, в этом направлении я получил благодаря космосу, и чем я занимался более десяти лет, захватило меня целиком и держало крепко, может быть, и до сих пор держит. В этом не было ни спорта, ни романтики, потому что искусство и искусствознание, вера и религия существуют вечно, и в человеке всегда живет и будет жить какое-то беспокойство, желание проникнуть как можно глубже в сущность всего этого. Любопытное животное — человек, и всякий из нас пытается решать разные загадки и в разных областях знаний, к примеру, пытается проникнуть в сущность пушкинских стихов или познать что-то в искусстве, не познанное до него. Это нельзя назвать ни романтическим, ни спортивным увлечением, поэтому я ни с кем не вступал в соревнование, садясь за книги по теории перспективы в изобразительном искусстве или за статьи о смысле троичности.

Любовь к истории я чувствовал всегда, особенно к древней. Много ездил, в основном по древним русским городам, но ездил по-своему, потому что наши так называемые экскурсии — это все что угодно, только не то, что надо. Совершают, скажем, экскурсанты поездку на пароходе по маршруту Москва-Астрахань, выходят по пути в разных городах, едут в автобусах к одному храму, к другому, к третьему. . . Я считаю, что для любопытствующего обывателя — в дурном смысле слова — этого достаточно. Но и он ничего не поймет из такой экскурсии. Для того чтобы все прочувствовать, надо в этом городе пожить, видеть храмы ежедневно — и утром, и вечером, и в хорошую, и в плохую погоду; надо погрузиться в эту среду, надо ходить по

этим улицам. Тогда вживаешься и начинаешь понимать.

Я даже в Кижях, хотя это было запрещено, получил разрешение пожить неделю, чтобы напитаться их сущностью. А когда привозят группу на полтора часа, все на бегу, человек ничего не воспринимает, но потом говорит: «Я был в Кижях! Я был там, я был сям!» Всяческие круизы по заграницам вызывают у меня только улыбку: посетим Рим, посетим Венецию, посетим Стамбул. . .

И когда я ездил по древним русским городам, мы с женой договаривались так: в этом году живем там или тут. Приезжали, останавливались в гостинице или еще где-нибудь и принимались бродить по городу до бесконечности. И вдруг начиналось что-то такое, что не передается словами, начиналось чувство памятника. Гостинные дворы и дома вдруг становились другими, по-особому воспринимались, когда живешь рядом с ними, по-особому воспринимались и храмы.

Может быть, поэтому проблемы, связанные с пространственными построениями в изобразительном искусстве, со зрительным восприятием, я стал применять прежде всего к иконам. Там больше всего непонятного. Ну, к примеру, в древнерусской и византийской живописи царствует странная «обратная перспектива», которая кажется абсолютно алогичной, противоречащей очевидным правилам, известным сегодня всем и подтвержденным практикой фотографии. Неужели это результат неумения, как писали многие? Почему вообще художники пишут так, а не иначе? Какие-то странные, дикие вещи — имеют ли они рациональные корни, или все совершенно нерационально? Я пытался найти рациональные корни. Для этого пришлось учесть работу не только глаза, но и мозга при зрительном восприятии. А это в свою очередь потребовало математического описания работы мозга. Оказалось, что обратная перспектива и многие другие странности совершенно естественны и даже неизбежны.

Первая моя книга «Пространственные построения в древнерусской живописи» вышла в 1975 году, вторая, включающая уже примеры из мировой живописи, — в 1980-м. Строгий математический анализ выявил, что никогда не существовала и не была разработана научная система перспективы, адекватно передающая геометрические характеристики изображаемого пространства на плоскости картины без каких-либо условностей и искажений. Это получило окончательное математическое обоснование в третьей книге, 1986 года издания, где дана общая теория перспективы. Четвертая, «Геометрия картины и зрительное восприятие», в которой я счел возможным и целесообразным изложить вопросы, не имеющие прямого отношения к учению о перспективе, но без которых понять историю изобразительного искусства невозможно, вышла в 1994 году.

Меня не привлекли в живописи проблемы светотени или колористики, то есть, конечно, меня это интересует, но не как специалиста, я просто не имею для этого нужных данных, а дилетантства не признаю. Все предельно ясно: для восприятия художественного произведения необходимо обладать известным талантом, которым обладают художники и люди, тонко чувствующие искусство. Этот талант внелогического характера, логикой тут ничего не возьмешь. У меня же развита логическая часть мозга, а та, которая занимается внелогическим восприятием мира, явно «отстает». Поэтому, скажем, хороший искусствовед, искусствовед от Бога, смотрит и видит то, чего я не вижу. Он может отличить хорошую картину от плохой, а я не могу. Эта

способность получать информацию на внелогическом пути иногда называется вкусом. Искусствовед видит и что-то чувствует, а я этого часто почти не чувствую, то есть удовольствие от созерцания картины получаю, но получаю не так, как художник или музыкант, которые от Бога, Они получают истинное наслаждение.

В молодости я часто бывал в филармонии, случалось, что музыка меня захватывала совершенно, но очень редко. Для настоящего ценителя музыки это нормальное состояние, а для меня — исключение. И если эта внелогическая часть мозга, к моему великому сожалению, у меня представлена слабо, то не надо туда и лезть. Я с интересом читаю, что пишут разные тонкие ценители искусства, но, честно говоря, не всегда их понимаю, хотя весь словесный ряд мне понятен. Они мыслят образами и пытаются передать их словами, а у меня образное восприятие мира подавлено логическим восприятием. Если угодно, они пытаются передать словами то, что словами передать невозможно.

Есть разные способы восприятия мира. Леонардо да Винчи мог и то, и другое, он одинаково чувствовал и искусство, и точные науки, был математиком и механиком, а кроме того, крупным художником. Или Гете с его естествоиспытательскими трактатами «Опыт о метаморфозе растений», «Учение о цвете» — многие считают, что если бы он ничего не создал как поэт, то остался бы в истории как ученый. Мало кто знает, что он был крупным натуралистом, обычно помнят, что он «Фауста» написал... Так что есть люди, которые могут и одно, и другое, — я в этом смысле явно не тяну. Может быть, я предпочел бы второе, но вынужден заниматься логическими построениями в живописи, потому что заниматься другим просто не в состоянии. Ничего не поделаешь...

Иконы, да и классическую живопись, во многом основанную на евангельских сюжетах, нельзя понять, не занимаясь богословием, — это вполне естественно. И я занялся богословием. У меня вышло несколько работ в этой области, а первый доклад на эту тему я сделал на церковной конференции еще до празднования 1000-летия крещения Руси. Последние мои работы посвящены Троице. Публикации в периодике на эту тему зацепили внимание многих читателей, статьи заметили, на них откликнулись, причем откликнулись по-разному. Одни — как бы повторяя за Дидро: «Сделайте так, чтобы я дотронулся до Бога рукой», другие — скептически относясь к существованию Высших сил, третьи — восторженно подхватывая мои идеи.

Надо сказать в виде отступления, что я всегда болею за слабую команду. Сочувствие слабой команде и взяло верх в моем первоначальном отношении к православию. Всем известно, что после первых космических запусков происходили регулярные приемы в Кремле, на самом высоком уровне. Это потом запуски стали повседневностью, а тогда они праздновались необычайно торжественно, державно, приглашались и представители всех существующих в нашей стране конфессий.

Я обратил внимание, что столик, за которым становились наши пастыри (а приемы проходили *a la fourchette*), находился как бы в «санитарной зоне», и никто не переступал невидимой черты, ограничивающей эту зону. Священники оставались как бы сфере отчуждения, в стерильном одиночестве, наши партийные боссы, генералы и разные высокопоставленные персоны боялись подойти к ним, оказаться в сомнительной ситуации. Пожалуй, именно из чувства протеста — невыносимо стыдно видеть такую невос-

питанность! — я пересекал границу «санитарной зоны» и беседовал со священнослужителями. Таким образом я вступил в контакт с православной церковью, а так как я уже увлекался живописью, в частности иконописью, работал над книгой об иконах и не хотел, чтобы она была богословски безграмотной, я попросил, чтобы меня познакомили с ректором Духовной академии и он помог мне консультациями. . .

Это одна линия. Другая связана с празднованием 1000-летия крещения Руси. В ожидании юбилея я с интересом ждал появления в печати каких-либо статей на эту тему. К своему удивлению, не нашел ничего, кроме серии поразительно глупых атеистических опусов в «Комсомольской правде», авторы которых (несмотря на свои ученые звания) демонстрировали явную некомпетентность. Естественно, хотелось прочитать в прессе достойную отповедь, но все гуманитарии молчали. И я, опять в одиночестве, как в свое время в Кремле, пересек невидимую границу и опубликовал в журнале «Коммунист» (это было ох как нелегко) за год до юбилея статью, смысл которой звучал примерно так: «Слава Богу, что нас в свое время крестили!» Ее появление вызвало скандал в стане воинствующих атеистов, она была несколько раз перепечатана в нашей стране, опубликована во многих других странах, и я очень радовался ее неожиданно большому влиянию на складывающееся общественное мнение. Появление в печати такой статьи еще более сблизило меня с Церковью.

Следующим этапом стала ликвидация элементарной богословской безграмотности, прежде всего в изучении иконописи. В результате и появились мои работы о Троице и по некоторым вопросам богословия иконопочитания. Но все это вовсе не означало, что во мне проснулся, скажем, «ген религиозности», наоборот, я таким геном, к сожалению, не обладаю, как, впрочем, и геном художника или искусствоведа, хотя успешно занимаюсь изучением искусства. Может быть, его отсутствие в чем-то мне помогает: так легче оставаться беспристрастным.

До последнего времени я был крещен на немецкий лад, то есть не православный, а родился и живу в православной стране. Но главное — не в этом. Вопрос о вере — вопрос очень сложный, и однозначно ответить на него нельзя, у каждого свое мнение. В девяносто восьмом году я, например, принял православное крещение, понимая, что теперь, в положенный срок, меня похоронят как положено, по церковному обряду, ведь у нас в России нет гугенотской церкви. Религия всегда иррациональна по своей природе, поэтому ее нельзя рационально объяснить, истолковать, но мне кажется, раз я живу в России, то не могу быть отрезан от православной Церкви. Крещенный на немецкий лад я был невольно от нее отрезан. Если хочешь принимать участие, пусть самое легкое, в религиозной жизни, нужно принадлежать к той конфессии, которая представлена в стране твоего проживания. Все-таки православие имеет огромные преимущества по сравнению с гугенотством, я этого не знал до сих пор, но теперь понимаю, оно лучше. Та религия более быденно-домашне-кухонная, а православная религия более высокая, огромная, золоченая. Я, может быть, по-дурачки определяю разницу, но таково мое восприятие. Это несоизмеримые вещи.

Религия, с моей точки зрения, нечто адресующееся к той части души, которая не занимается рациональными делами. Богословие — рациональная наука, поэтому им может заниматься и атеист, скажем, искусствовед, по-жалуйста. А я говорю о вере, о настоящей вере. Протестантская религия

возникла как противоположность католической, в протестантизме наиболее левачьих позиции занимали как раз кальвинисты, гугеноты, люди моей детской конфессии. Они были более решительными антикатоликами, если так можно выразиться, и в свое время свели религию к тому, что первоначально им даже не нужен был священник. Потом священниками у кальвинистов стали люди, которые кончили соответствующее учебное заведение — университет, к примеру, — но не богословскую академию. По идее пастырем у них может быть любой человек, даже все по очереди. Но на самом деле требовались глубокие знания, и поэтому священство постепенно становилось профессией, а первоначально это была очень демократичная религия, олицетворяющая резкий разрыв с католицизмом, с его иерархами, папами, кардиналами, с его пышностью барокко.

В младенчестве я не выбирал религию, какая она ни есть — она моя. Сейчас же я принимал религию не как ребенок, а сознательно. Перешел в православие не только потому, что в России нет гугенотских храмов, но и потому, что считаю православие ближе к истине, то есть ближе к древней Церкви, которая создавалась апостолами. И поэтому если хочешь предложить древней Церкви, по возможности более древней, то, пожалуй, православная к ней наиболее близка, ближе католической. Если хочешь быть по возможности близким к первоначальному христианству апостолов, то, с моей точки зрения, может быть и ошибочной, надо идти по линии православия.

И обрядовая сторона, если иметь в виду церковную службу, у православия самая впечатляющая, самая красивая. Я бывал за границей и в протестантских, и в католических храмах, и мне кажется, что православие, со многих точек зрения, лучше всех других конфессий: и эмоционально, и по внешним проявлениям — богослужению, пению и прочему. Единственное, чего у православия нет, даже Флоренский об этом жалеет, так это органа. Многоголосие в какой-то мере его заменяет, но все-таки по-настоящему орган ничем заменить нельзя, и какое бы прекрасное ни было пение, оно все-таки только пение. А если следовать Священному Писанию, то в нем нет требования ограничиться пением, там всегда есть указание, что при отправлении службы используется инструмент. Есть даже прямые цитаты на этот счет, и поэтому использование инструментов в церкви не является отходом от канонов, наоборот.

Отсутствие в православной церкви инструментальной музыки сильно ее обеднило, потому что инструментальная музыка имеет очевидные преимущества, орган — удивительный инструмент по силе воздействия на человека. И если вы откроете Псалтирь, то там перед некоторыми псалмами есть указания регенту, в частности отмечается, какие музыкальные инструменты должны использовать, вести мелодию. То есть даже в Псалтири, в каноническом тексте, упоминается об инструментах. Правда, там называется и музыкальное орудие шошан, но что такое шошан, никто не знает. Я пытался найти — безуспешно. Наверное, какой-нибудь историк музыки знает о нем.

Приняв православие, я не считаю это изменой Господу, потому что Господь един. Просто я из одной христианской конфессии перешел в другую, познал таинство крещения, которого как таинства нет у протестантов. Но внешняя сторона религии не играет для меня такой существенной роли, правда, икон у нас в доме много, а при крещении мне подарили икону Ка-

занской Божьей матери современной школы письма. Теоретически я теперь должен быть прихожанином своей ближайшей церкви, когда основательно стану на ноги после операции, но почему-то у меня нет внутреннего желания быть прихожанином, хотя я и люблю бывать в церкви. Быть прихожанином — это значит быть хорошо знакомым со священником и активно участвовать в жизни прихода — вот этого мне и не хочется, не знаю, почему. Мне кажется, что религия должна быть все-таки чем-то «для себя». С другой стороны, Христос сказал: там где двое, трое соберутся во имя Мое, там и Я среди вас; то есть если я в одиночестве, Христос ко мне не придет, а если нас несколько человек собралось для молитвы, то Христос будет присутствовать среди нас незримо. Он разрешает — молитесь в одиночку, но подчеркивает, что когда собираются трое (по-моему, Он сказал «трое соберутся во имя Мое»), то Он будет среди них; не говорит, что если один будет молиться, то Он тоже к нему придет. Так в Священном Писании.

Когда я в свое время наивно удивлялся, зачем вообще посещать церковь, если я могу молиться и в одиночку, мне указали это место в Евангелии, слова Христа, что Он придет к тем, кто соберется во имя Его. Это оправдывает смысл совместной молитвы, она становится действенной, когда люди собираются купно. Церковь существует как собрание, собор верующих.

Религиозное чувство, по мнению Андрея Дмитриевича Сахарова, есть результат того, что существует Нечто вне материи и ее законов, что тепляет мир; вот это тепление и можно назвать религиозным чувством. Вежливая форма религиозности в материалистическом мире — это современное представление об осмысленности мироздания. Много свидетельствует об этой осмысленности, о том, что мироздание не случайное собрание молекул. Если допустить случайность, то выводы будут такими страшными, что хоть вешайся. А раз признается осмысленность мироздания, то человеческая жизнь — не конкретно моя, ваша, чья-то еще — не совсем случайна. Пантеизм в средневековье был вежливой формой атеизма, когда считали, что Бог разлит повсюду, а если так, то его как такового вроде бы и нет. Сейчас же вежливой формой религиозности является утверждение об осмысленности мироздания.

Если говорить о конфессиях, то моя точка зрения такова: конфессии рождаются вместе с народом, и менять их не следует. Скажем, для России я не вижу другой конфессии, кроме православия, потому что на протяжении столетий вся наша жизнь была православной, и православие вошло не только в облик храмов, но и в нравственность, в народные приметы, в пословицы. «Вот тебе Бог, а вот — порог», так может сказать только православный человек, потому что в красном углу — икона. Это настолько слилось с нашим сознанием и даже подсознанием, что и атеисты живут, следуя неписанным законам православной культуры, и говоря сегодня о возрождении России, пользуются вполне не атеистическим аргументом: ей, мол, на роду так написано, издревле православной стране, пронизанной особой духовностью. . . Хотелось бы и мне верить в это, хотя я сам не сторонник пассивной позиции в деле возрождения страны. Ждать, когда на нас с неба упадет благодать Божья, ничего при этом не делая, глупо, церковь не обязана заниматься устройством государственных дел, им должно заниматься общество, и заниматься активно; религия не обязана спасать страны, она спасает отдельного человека, чего не делает государство. Я много думал на эту тему и убежден, что религия, рождаясь вместе с народом, входит

в его плоть и кровь, утверждает его традиционность, но отнюдь не экономически. Если выражаться старым стилем, то религия — наиболее активная часть идеологического фронта. Очень важная часть, потому что для людей, ищущих верный путь, неизбежны и даже необходимы метания из стороны в сторону — можно метнуться влево, можно метнуться вправо, — но всегда должно быть что-то неизменное, к чему возвращаются, чтобы снова начать поиски правильного пути. Таким неизменным, в частности, и является религия. Она не придумана, она существовала всегда.

У меня такое впечатление, что религия возникла оттого, что небольшая часть людей обладает свойством ощущать больше, нежели нормальные люди. Их не более 10–15%, как я уже упоминал неоднократно, но они способны вести за собой других, потому что они — истинно верующие. Оставшиеся 85–90% абсолютно безразличны к религии, это, на мой взгляд, нормальное явление, им религия неинтересна, ничего для них не значит. И даже если они родились в религиозной стране и в детстве ходили в церковь, приобщались к религиозным заповедям, воспитывались в их духе, то, попадая в сугубо атеистическую среду, где церкви нет, от этого страдать не станут. Тяжело будут страдать те 10–15% истинно верующих, подобно одаренным музыкантам, которым запретят играть на любимом инструменте. Но это меньшинство, повторяю, может повести за собой даже самых духовно тупых особей, потому что, условно говоря, у истинно верующих, кроме пяти чувств, данных всем, есть еще ощущение связи космического порядка, и трактуют они это как указания свыше, иными словами, как указания неба и так далее.

Не сомневаюсь, они ничего не придумывали, они это чувствовали на самом деле. На обмане здесь ничего сделать нельзя, он рано или поздно разоблачается, и тогда выстраивается наивная атеистическая схема: жрецы — это жулики, которые обманывают простой народ. На самом же деле настоящие священники, те, кто одарены свыше, действительно знают и чувствуют больше, чем обыкновенные люди. И это большее не могут передать остальным иначе, как ощущением чего-то по велению неба, Высших сил, душ предков.

У человека сильно развито стадное чувство, и если группа избранных, выразимся так, посещает церковь, утверждая, что это необходимо, то многие двинутся вслед за ней. Это не значит, что безразличные к религии люди — бараны, просто у одних религия — осознанная необходимость, а у других — неосознанная потребность, подавленная чем-то второстепенным. Так что если существуют эти 10–15% искренне верующих, которые не могут жить без веры, не важно, без какой — мусульманской, христианской — то вокруг этой группы избранных образуется нечто, о чем говорил не только Сахаров, но и наши подвижники, Серафим Саровский например: если есть один глубоко верующий, то около него спасутся многие.

Тягу к религии я почувствовал на определенном этапе своей жизни, но могу ли причислить себя к тем 10–15% — не знаю. Может быть... Почему возникло это чувство, рассказ отдельный, считаю, что я о религии еще ничего не написал, не исключено, что ей будет посвящена моя следующая книга. Но иконописью, иконопочитанием, повторяю, я занялся уже на излете моей работы в фирме Королёва, и новое развитие «вбок» косвенно, не напрямую, может быть, и связано с моей основной профессией. Повлияло и мое детство, когда меня водили в церковь, приобщали святых тайн,

а детские впечатления — это не такая вещь, которая забывается и исчезает бесследно. В этом смысле меня могут понять мои ровесники, но не поймут молодые, хотя бы мои дети, которых в церковь не водили. У нас совершенно разные корни, и мои надо искать в детстве, кроме, конечно, известной предрасположенности, совершенно очевидной. Во все времена моей жизни мне была весьма неприятна антирелигиозная пропаганда, я всегда считал ее чужью и болел за религию. У меня всегда вызывал омерзение атеизм советского типа — западного я не знаю, там, наверное, все выглядит приличнее. В царской России тоже были неверующие, свои Базаровы, их никто не истреблял, хотя многие и не одобряли. Но никакой Базаров не мог вызвать лично у меня такого отвращения, какое вызывали воинствующие безбожники советских времен, в подавляющем большинстве абсолютно безграмотные и неоправданно агрессивные.

Вернусь к моим работам о Троице. Поскольку в богословии меня интересует логическая сторона, то мне удалось доказать одно положение, которое до сих пор не было известно. Понятие Троицы всегда считалось алогичным — три Бога составляют одного Бога, как это может быть одновременно: три и один? Когда мы говорим о святости Троицы, нам не с чем из повседневной жизни ее сравнивать, святость свойственна лишь божественному. Но когда речь заходит о триединости, то человеческий ум невольно ищет аналогии в повседневной жизни, хочет увязать это понятие с формальной логикой.

Поэтому, например, богословы Флоренский, Трубецкой пытались найти выход из положения двояким способом. Один путь, предложенный Флоренским, сводится к тому, что непостижимость свойственна Богу, и поэтому бояться её не надо. Другая точка зрения — Трубецкого — заключается в том, что никакого противоречия нет, Бог один, а троичны Лица: не три Бога, а три Лица составляют единого Бога. Можно привести такой пример логики Трубецкого — три цветка составляют один букет, здесь все понятно. Но как понять мысль: три цветка составляют один цветок? Мне удалось показать, что понятие Троицы безупречно, даже когда три Бога составляют одного Бога. Удивляюсь, как Флоренский об этом не догадался, ведь он был математиком по образованию. Он просто, видимо, не думал в этом направлении.

Я сказал себе: будем искать в математике объект, обладающий всеми логическими свойствами Троицы, и если такой объект обнаружится, то тем самым будет доказана возможность логической непротиворечивости структуры Троицы и в том случае, когда каждое Лицо является Богом. И четко сформулировав логические свойства Троицы, сгруппировав их и уточнив, я вышел на математический объект, полностью соответствующий перечисленным свойствам — это самый обычный вектор с его тремя ортогональными составляющими. . .

Остается лишь поражаться, что отцы Церкви сумели сформулировать совокупность свойств Троицы, не имея возможности опираться на математику. Они совершенно справедливо называли любые отклонения от этой совокупности ересями, как бы ощущая внутренним зрением их разрушительную пагубность. Лишь теперь становится понятным величие отцов Церкви и в смысле интуитивного создания безупречной триединости. Сегодня совершенно разумна формулировка догмата о Троице, которая точно следует символу Веры: «Лица Троицы составляют единое Божество, в котором

каждое Лицо в свою очередь является Богом».

Я с каким-то рвением окунулся в искусство и в религию, абсолютно безо всякого расчета, от этого увлечения никогда ничего не имел, то есть все произошло стопроцентно по любви. Я имею в виду не только деньги, но и положение в обществе — не стал же я знаменитым искусствоведом или известным богословом, да и не ставил перед собой такой задачи. Ничего положительного, с точки зрения внешней биографии, в моем увлечении нет, мне это ни к чему, я вполне бескорыстен в таких делах. Мне просто интересно что-то делать в этой сфере, думать в этом направлении, писать статьи, книги. Может быть, это такая немецкая занудность: если что-нибудь сделал — записать, ибо законченную работу полагается отпечатать, опубликовать.

Когда я что-то замышляю, меня охватывает азарт, удовольствие от предвкушения работы, я увлекаюсь, предмет мне кажется настолько интересным, что я, как правило, переоцениваю то, что получается. Мне представляется, что своим небольшим открытием я потрясаю основы мира, а потом выясняется, что это не так, более того, я и сам понимаю в глубине души, что это не так, но когда начинаешь работу, появляется такое дурацкое ощущение, что она — потрясение основ. Забавное ощущение. . .

Так было, например, с моими работами по теории перспективы в искусстве. Начну «ab ovo». Еще во время учебы в институте меня зацепила одна идея: как картины изображаются научно? Зацепила по делу — в институте преподавали ряд предметов, в том числе черчение и техническое рисование, а техническое рисование — это все-таки рисование. Мы проходили что-то наподобие теории перспективы в сокращенном объеме, и я понял, что за вроде бы свободными деяниями художника иногда скрывается некая математическая основа. Мне моя догадка показалась любопытной, я даже взял книжку о перспективе, изданную на немецком языке, увлекся, выполнил по заданию рисунок с наложением теней и напроць забыл о своем наивном юношеском интересе.

Возродился он позже, когда я был уже совсем взрослым, доктором наук и все прочее, и связан был с проблемой передачи объемных предметов на плоскости экрана. Дело в том, что при стыковке космических кораблей космонавт на корабле нашей конструкции не может наблюдать за процессом непосредственно, а только на экране. Можно ли на экране хорошо передать пространство? И тут у меня вновь проснулся юношеский интерес к тому, как все происходит, особенно когда выяснилось, что управлять стыковкой просто по экрану, строго говоря, нельзя, он дает искаженное изображение. Есть ли шанс получить не искаженное, правильное изображение и что для этого нужно придумать? Я имел в виду науку, но она естественно потянула за собою искусство: ведь художник тоже изображает пространство на плоскости.

Результатом всех моих размышлений стала разработка соответствующей математической теории, о которой здесь говорить не буду, она так или иначе опубликована в моих книгах, ну а суть дела сводится к следующему. До сих пор теория перспективы опиралась на работу глаза (если угодно, фотоаппарата), а на самом деле видимая человеком картина пространства создается мозгом, изображение на сетчатке глаза всего лишь «полуфабрикат».

Почему возникло желание во всем этом разобраться? Потому что когда смотришь, как создавались картины художниками античности, средних ве-

ков, нового времени, сегодняшнего дня, то видишь, что они создавались по-разному. Скажем, для античности и в средние века основой для художника была параллельная перспектива, когда нет никаких изменений размеров предмета при удалении. Почему же художники так рисовали, они что — плохо соображали? А может, здесь кроется нечто большее? Говорят, что они не знали учения о перспективе, но это совершенная чушь, поскольку китайцы вообще не имели никакого понятия о системе перспективы, но за шестьсот-семьсот лет до Ренессанса рисовали прекрасные перспективные изображения, пейзажи с уменьшением предметов по мере их удаления, с воздушной перспективой и т.д.; то есть никакой теории для этого им не понадобилось.

Меня это смущало и побуждало подробнее размышлять, почему же после того, как было создано учение о перспективе, такое строгое и красивое, художники им все-таки сейчас практически не пользуются? Что, со временем они вдруг заметили, что у них не очень хорошо получается, изображение не очень соответствует зрительному впечатлению, и стали отклоняться от ренессансного учения? Я обратился к книгам по искусству, по психологии зрительного восприятия, и тут-то мне и открылось, что надо учитывать не то изображение, которое получается на сетчатке глаза, а то, что преобразовано мозгом, и преобразовано очень сильно.

Чтобы создать более совершенную систему перспективы, чем ренессансная, требовалось составить дифференциальные уравнения работы мозга при зрительном восприятии и, пользуясь методами математического анализа, решить задачу. Конечно, искусствоведам это было не под силу. Почему же удалось мне, а не кому-нибудь другому, ведь вещи там не такие уж сложные? Думаю, здесь дело случая: чтобы написать это, необходим был человек, обладающий знанием трех предметов, а именно: во-первых, классической теории перспективы, во-вторых, психологии зрительного восприятия, в-третьих, математики. И, кроме того, интересующийся этим вопросом! По случайному стечению обстоятельств я оказался таким «совпадением», и новая теория перспективы была создана.

Каковы же результаты? Выяснилось, что создание идеальной картины, во всем следующей зрительному восприятию, в принципе невозможно, нельзя изобразить мир таким, каким ты его видишь, до мельчайших подробностей. Любое изображение — обязательно искажение. Но если все изображения содержат ошибки, то можно поставить вопрос так: они отличаются друг от друга тем, что искажения смещены по-разному. Предположим художники пишут с натуры комнату. Один считает самым важным стены, украшенные картинами, другой предпочтет достойным изображения цветастый ковер на полу. Первый точно передаст вид стен и будет вынужден — в силу неумолимых законов математики, которые ему, конечно, останутся неизвестными, — искаженно передавать пол. Второй изобразит пол таким, каким его видит, и с неумолимой неизбежностью исказит стены. И оба будут правы!

Таким образом, можно утверждать, что существует много вариантов равноценных перспективных систем, в которых, условно говоря, по-разному расставлены акценты. И все эти системы равноценны. Выбор того или иного варианта — дело художника. Потому-то и появилась возможность объективного понимания любимой фразы художников: «Я так вижу!» Можно много говорить на эту тему, поскольку я посвятил ей три книги, но здесь

считаю достаточным то, что сказано. Добавлю только, что теория перспективы существовала всегда, то есть в течение столетий, я просто подошел к решению проблемы немного по-другому. И хотя считается, что искусство состоит из оттенков, не думаю, что оттенок, добавленный мною, был глобальным. Скажем так: он немаловажен.

У меня есть одна особенность, странное свойство — работа окончена, и я от нее отошел, уже нацелен на что-то другое, но вновь возвращаюсь к своим книгам. Есть люди, которые, написав, не читают свои труды, я как раз наоборот, беру и читаю, это мне нравится, хотя отмечаю, что вот здесь можно было бы сделать по-другому, но не делаю. У каждого пишущего это происходит на свой лад. . . Я вообще люблю писать книги, получаю удовольствие от работы, мне просто приятно заниматься этим делом. Потом я заметил, что когда занимаешься чем-то в одной области и тебе кажется — ты уже все в ней знаешь, то, работая над книгой по этой теме, обнаруживаешь, что знаешь вовсе не все. Книга идет логически от начала до конца, а я, работая в какой-то области, знаю, к примеру, начало, потом, пропустив что-то, знаю еще какой-то фрагмент, опять нечто пропускаю, снова нащупываю, но все подряд не знаю. В книге же надо писать одно за другим, и я невольно изучаю, восполняю и создаю то, чего до этого не знал и не стал бы делать, если бы не книга. Такая вот сложная зависимость.

Только после того, как книга написана, возникает чувство, что наконец-то сам все понял, что-то выстраивается, что-то становится логичным, как говорится, ложится «в строку». Может быть, это индивидуальная особенность, а может — общее правило, не берусь судить. Но как все-таки заманчиво: положить на стол стопку чистых листов бумаги, открыть окно на втором этаже дачи — видны деревья, тишина, птички всякие чирикают, на первом этаже слышны чьи-то голоса и писк детей, моих внуков, бабушкины строгие слова. . . Но я на это не обращаю внимания, это как бы необходимый фон, я сижу и пишу под пение птичек. Самые мои приятные мгновения. . .

В общей сложности у меня вышло книг тридцать, да еще дополненные и переработанные издания, закрытые, само собой. И больше ста статейных работ. Сразу оговорюсь: никакого архива у меня нет и не было. Сработало то, что я был в ГУЛАГе: ничего нельзя оставлять, никаких документов, писем, записей, потом их обязательно кто-нибудь истолкует не так, как надо. Напишешь, например, кому-нибудь в письме: «Помнишь, как мы с тобой ходили по лесу?» — и сразу: «А зачем вы ходили в лес, о чем говорили?» . . . И пошла писать губерния! У меня выработалась четкая гулаговская привычка все уничтожать, ничего не оставлять следователю. Понимаю, что никто меня сейчас арестовывать не будет, но ничего не могу поделать — привык, так сложилось, себя не переделаешь да и незачем. Никогда не забуду, какую зловещую роль сыграли архивы в жизни людей, с которыми я встречался в заключении. . .

Желание написать книгу возникает как-то необъяснимо. Есть такие книги, которые я пишу, когда набрался необходимый материал, и здесь я поступаю так, как, может быть, более толковые, чем я, люди не поступают: фигурально выражаясь, как бы заставляю себя заняться «уборкой в квартире», разобрать и систематизировать скопившийся материал. Это требует известной силы воли, иначе невозможно работать дальше. То есть я обладаю какой-то суммой знаний и чувствую, что мне хочется все это собрать воедино, освободив от лишнего, потому что замыслы исчезают, а

книга остается.

Есть книги, которые я написал на основе серии статей — открытых и закрытых; перечитывая их, я думаю: а что если все это дело забыть и написать сначала, коротко и ясно? Когда появляется такое желание, то я прежде всего выясняю, где книгу можно издать и можно ли издать вообще, иначе это не имеет смысла. Работая над такой книгой, я большого удовольствия не получаю, потому что иду по уже знакомым местам и мне скучно, ничего нет нового. Читатели, правда, этого еще не знают, но мне неинтересно ковыряться, и я пишу без восторга, хотя должен сказать, что и это не совсем так, потому что когда сидишь над собранным материалом, какими-то его кусками, и начинаешь их склеивать, а они не склеиваются, оказывается, не хватает то одного, то другого, я вынужден дополнять — и это уже творческая работа, она захватывает, хотя и тяжелая. Но вот необъяснимая потребность «очистить углы», чувство, что материал пропадает и мне жалко, что я перестал им заниматься, что мне хочется не то чтобы оставить его в вечности, в бесконечности, — это бессмысленно! — но для самого себя привести в порядок, собрать, «причесать» и в таком виде сохранить — вот эта потребность и это чувство заставляют меня сесть за книгу. «... Ибо без дыхания слова не сохраняется ничего на свете», — как сказал Томас Манн. В каком-то смысле это банальность, но хорошо сформулировано.

Трудно, не сползая в банальность, сказать и о том, что вообще значили и значат книги в моей жизни. В детстве чтение мое было случайным, я читал что попало, что находил у приятелей, например, прочитал всего Луи Буссенара и Луи Жаколио — ничего не помню, кроме бесконечных приключений, но фамилии этих двух писателей в памяти застряли. Романы Жорж Санд казались для меня тогда слишком серьезной литературой, я читал то, что не требовало усилий, приложения к «Ниве» или к каким-то другим журналам, выписывавшиеся родителями моих товарищей по школе. Грубо говоря, не гонялся за особыми книжками, а читал, что попадалось под руку. Книги тогда было очень трудно достать, шел непрерывный обмен — я у кого-то брал, брали мои немногочисленные книги, возвращали, не возвращали. Случайно у нас в доме оказалось полное собрание Тургенева, поэтому я его прочел рано. Романы его мне не очень нравились, казались скучными, а повести и рассказы я читал с удовольствием. Гоголя, кроме «Мертвых душ» и «Вечеров на хуторе близ Диканьки», у нас в доме не было, и я перечитывал без конца эти произведения. Пушкина знал всего и многое наизусть.

Серьезное чтение пришло позже и стояло все-таки на втором плане. На первом плане находилась всякая летающая техника, она всегда была вне конкуренции. Я регулярно посещал в Ленинграде научно-техническую библиотеку, студентом сидел там иногда чуть ли не сутками, листал подшивки нужных мне иностранных журналов. Библиотека имеет огромное преимущество, когда ты длительное время работаешь над какой-то проблемой, кроме того, мне нравилось, что туда приходят люди, занимающиеся только наукой. Именно там, в этой библиотеке, я мог собирать мед знаний с цветков мудрости, как говорится в восточных притчах. И в основном я работал с литературой, которую было трудно достать в каком-либо другом месте, поэтому и библиотекой пользовался, как правило, тогда, когда иным образом ни при каких условиях не мог достать нужного источника. Но иногда у меня бывали периоды, когда меня захватывало что-нибудь, и я ходил в библиотеку просто чтобы там поработать над своим материалом, пописать. Садился,

обкладывался книгами, обстановка была необыкновенно благоприятная — я всегда работал не в общих залах, а в научных, там специфическая атмосфера, зал не очень полон народу, сидишь за столом один, второго человека, как правило, нет, хотя столы рассчитаны на два места. Все стараются сесть по отдельности, не мешать друг другу. С теплотой в душе вспоминаю то время.

Что бы я мог сделать без книг? Ничего. Я имею в виду научные книги. Ненаучные книги важны и для воспитания человека, и для расширения его кругозора, невероятно важны, но сейчас я говорю о научной книге и научном творчестве, если тонко выражаться. Правда, нынче все любят именовать себя «творцами», меня немножко коробит, когда слышу: «Я в своем творчестве», «творчество такое», «творчество сякое»... Думаю: творец ты такой-сякой! Хотел бы я посмотреть, чего ты стоишь в своем «творчестве». Дурацкое слово. Вообще-то оно хорошее, но сейчас стало употребляться не к месту и звучит почти издевательски. Стоит какой-нибудь явный тупица, за километр видно, что он тупица, важно раздувается и вещает: я в своем творчестве...

Книги общего развития, общечеловеческого звучания играли для меня, конечно, более значительную роль, чем специальная литература, хотя, повторяю, без нее я просто не состоялся бы как ученый. Однако я ленив читать специальную литературу; может быть, интуитивно, может быть, сознательно, но я работал в областях, где такой литературы не было и мне ничего не надо было пропускать через себя. Я уже как-то шутил, что работаю в областях, в которых работает не больше пяти-десяти человек во всем мире, не больше. Когда меня спрашивают, почему, я отвечаю: потому что там нет литературы и ее не надо читать. Это совсем не шутка. Скажем, я должен работать в области, в которой к этому времени уже трудились двадцать лет во всем мире сотни ученых, — условно говоря, это какая-то развита область в физике. Я могу тоже встроиться и начать копать, но при этом должен знать, что делали до меня и что делают сейчас другие. Чтобы не выглядеть дураком. Значит, надо садиться за чужие работы, чего я терпеть не могу, потому что узнаю то, что им уже известно. Мне проще выдумать свое, чем читать груды уже написанного и выпаренного материала, мне проще выбрать область, где не работают, пусть она будет второстепенная, я туда влезаю и прекрасно там себя чувствую: книг нет, читать ничего не надо, сиди и высасывай из пальца. И всегда что-то находишь! Другое дело, что эта находка лежит не на главной магистрали развития области данной науки, где толкаются все жаждущие, ну их! Мне это претит, я всегда старался держаться подальше от этого. Наш знаменитый Ломоносов, когда на каком-то дворцовом рауте к нему подлетел светский хлыщ и спросил: «А кто были ваши предки?», ответил: «Я сам — предок». Вот достойный ответ. И такая позиция мне очень нравится.

В русской классической литературе я считаю себя необразованным человеком из-за случайности чтения. У меня получилось нечто пестрое, склеенное из разных кусочков и с большими дырами в разных местах. Сознательно в какой-то период моей жизни — конечно, не в детстве — я искал и покупал Достоевского, он мне очень нравится, выражаясь современным языком, он меня «достает». Когда я читаю Достоевского, мне интересно, я переживаю. Это можно сказать и о Пушкине. А вообще художественную литературу я читаю как что-то постороннее, не касающееся меня, не влезаю туда, ес-

ли говорить о многих других книгах. Меня редко забирает. Вот, помню, у Льва Николаевича Толстого я читал куски, не вошедшие в основной текст, его черновики — поразительные вещи! Удивляюсь, почему они не напечатаны в основном тексте, мне кажется, это очень здорово. Хотя, как ученому, мне знакомо, когда что-то остается «за кадром», взять хотя бы массу моих неопубликованных работ в бывшей фирме Королёва, которые никогда не увидят света, по многим причинам.

Сейчас считают, что с появлением всяких «аудио», «видео» и прочих электронных устройств книга отомрет, как полагали когда-то многие, что с появлением фотографии отомрет живопись. Живопись не отмерла, не отомрет и книга, потому что «аудио» и «видео» — они будут жить, и пусть! — никогда не заменят нам книги. Ну, хотя бы потому, что маленькую книгу можно сунуть в карман, унести с собой и читать в лесу. «Видео» не потащишь. Механизация — вещь очень удобная для деловых людей, но не как художественное средство. Деловая жизнь и деловая литература, электронные зрелищные устройства, если можно так выразиться, существуют в данном случае сами по себе, там есть свои правила и свои законы, и Бог с ними, А Священное Писание, например, — это чтение на всю жизнь, Если человек прочел Библию от начала до конца, то ему открылись такие глубины! Можно ли это сравнивать с деловой литературой, живущей, по сравнению с Великой Книгой, один миг? Я знаю, с чем сравниваю, потому что многократно читал Новый Завет, в какой-то степени знаю Псалтирь, более или менее — Пятикнижие Моисея. Но беру и перечитываю, и когда мне это надо по делу, и когда просто тянет. У меня есть маленькое карманное издание Нового Завета, я всегда беру его в поездки и читаю, то есть читаю не по делу, а для себя.

Большой домашней библиотеки у меня никогда не было, жизнь складывалась так, что библиотеку не на что было заводить. То, что я собрал, уже будучи студентом, погибло в войну в Ленинграде. Когда я переехал в Москву, у меня не было денег, чтобы купить новые брюки, какая уж тут библиотека! А потом — лагерь и так далее... То есть я не имел не только возможности, но и времени собирать библиотеку. Книги стали собираться в доме, когда родились мои дочери, я покупал для них. После их замужества часть книг перекочевала к ним, часть осталась у меня, но вряд ли это можно назвать библиотекой, не считая, конечно, специальной литературы, ее у меня очень много. А вот художественной немного, и собиралась она с оглядкой на девочек. Ну, иногда и не с оглядкой, китайцев, например, я покупал для себя, потому что был единственный в семье, кто это читал.

Вообще читающий человек — существо особого порядка, но все зависит от того, что он читает. Если только американские детективы, то для меня он не человек читающий. Если в наше сумбурное время кто-то читает серьезную литературу, то он нормальный homo sapiens, ничего особенного из себя не представляет, не совершает никакого геройского поступка. Есть люди, которые сегодня вообще ничего не читают, это особый уровень развития, полуутробный, не думаю, что он характеризует все нынешнее среднее-молодое поколение, увлеченное «аудио» и «видео», но для них литература в какой-то мере оттеснена, отодвинута на второй план телевидением. Механическое восприятие, конечно же, проще — открыть рот и глазеть в телевизор. Иногда там, впрочем, показывают хорошие вещи, а как правило — дрянь. Другое дело — выбирать самому, чем насыщать душу, это труднее, надо

доставать, думать, осмысливать, самому работать над текстом. А там — развалился в кресле и разинул рот.

Если человек читает только газеты, — а есть и такие пожиратели пустого пространства, и ИХ немало, — то это равноценно в чем-то читателю детективов, потому что газеты просто-напросто сообщают о минутных происшествиях, в них редко печатаются эпохальные произведения, особенно сейчас. Газеты — нужная вещь, конечно, необходимо быть в курсе событий, но заикливаться только на них — перекус. Если человек читает одни газеты, можно сказать, что он ничего не читает. Возможно, кроме газет он читает еще вывески, вот и весь его уровень. Хотя в жизни читающего запоем серьезного человека может случиться ситуация, которую очень остроумно описал в одном из своих рассказов Сомерсет Моэм: «... для человека, привыкшего к чтению, оно становится наркотиком, а сам он его рабом. Попробуйте отнять у него книги, и он станет мрачным, дерганным и беспокойным, а потом, подобно алкоголику, который, если оставить его без спиртного, набрасывается на политуру и денатурат, он с горя принимается за газетные объявления пятилетней давности и телефонные справочники».

Знаю это по себе. Приходя, например, в гости, я, вместо того чтобы любезно беседовать с хозяевами, иногда хватаю интересную книжку, сажусь, в угол и читаю весь вечер. А в начале войны Вера Михайловна со мной прямо извелась: обстановка беспокойная, война все-таки, а меня каждый вечер все нет и нет с работы. Она стала меня встречать, и в квартале от нашего дома, у райкома партии, где находился стенд со свежими газетами, обнаружила, что я стою и читаю все подряд. По ее мнению и по мнению моих друзей, я страдаю патологическим желанием прочесть все, что напечатано. Когда мы с моим покойным другом Савкой Щедровицким, человеком энергичным и пробойным, как уже говорилось, отправились по одному щепетильному поводу к какому-то высокому начальнику договариваться о серьезном деле, пробивая нечто важное, то Савка потом с яростью всем рассказывал: «Я разливаюсь соловьем, что вот, мол, мы с Раушенбахом... — поворачиваюсь к Борису, а он стоит спиной к начальнику и на доске объявлений читает, кому выговоры объявлены...» Подобное чтение и можно отнести к пожиранию пустого пространства, чего не скажешь о чтении настоящем, которое можно назвать сокровенным процессом.

Когда человек садится перед телевизором, то это общественное зрелище, рядом его жена, дети, бабушка, кот. Здесь нет никакой интимности. А вот когда человек открывает книгу и углубляется, уходит в нее, остается с ней один на один, это интимный процесс. И когда кто-то через ваше плечо заглядывает в книгу, которой вы поглощены, очень неприятно. А телевизор смотреть — пожалуйста! Хоть пятнадцать человек пусть садятся вокруг, вам это нисколько не мешает.

К сожалению, наша жизнь тем и отличается, что мы все время нарушаем какие-то великие законы, не законы природы (их нарушить нельзя), а законы морально-этического порядка, нравственного порядка. Эти законы сильно идеализируют человека и не учитывают конкретных жизненных ситуаций, условий, в которые мы попадаем. Человек, их соблюдающий или пытающийся соблюдать, живет в каком-то непонятном, с точки зрения остальных, пространстве. Но я уже впадаю в философию, которой здесь не место...

Глава 6

В 1961 году мы переехали в новую трехкомнатную квартиру в район бывшей ВДНХ, где живем и сейчас с Верой Михайловной, а переезжали туда вчетвером, с дочерьми, которые тогда учились в школе. Вера Михайловна стала директором по научной части Исторического музея, я продолжал работать на космос, «ответвляться», преподавать на физтехе. Оба мы были плотно загружены на работе, но всегда находили время для дочерей. Я уже упоминал, что только ради них научился кататься на коньках, на протяжении многих лет делал два фотоальбома от самых первых дней детства до совершеннолетия дочерей, несмотря на их возражения; мы дали девочкам возможность заниматься музыкой, купили пианино и поняли, что худшего наказания для них нет. Надо сказать, что у меня самые страшные, мучительные воспоминания детства связаны с игрой на пианино. Но тогда не было ни радиол, ни проигрывателей, ни магнитофонов, и чтобы потанцевать, полагалось, когда придут гости, сесть за пианино и обеспечить музыку. Это входило в систему воспитания, образования. До сих пор помню, как я выстукиваю на пианино гаммы, упражнения Ганона для рук: пик-пик-пик-пик. . . Усердно пытались привить мне любовь к музыкальным занятиям, слух у меня был, терпения не хватало. Научился, правда, играть не только из «Детского альбома» Чайковского, но даже что-то более серьезное. Однако сейчас сесть за фортепьяно и что-нибудь сыграть — да упаси Боже! Столько отвращения это вызывало у меня когда-то. . .

Поэтому мы решили не мучить детей, а чтобы они чувствовали и понимали музыку, покупали абонементы на детские концерты в консерваторию, где показывали историю развития музыки, начиная с деревянных ложек, и я регулярно, каждое воскресенье, несколько лет подряд ходил туда со своими девочками. Так как у нас дома уже был проигрыватель, то мы устраивали музыкальные вечера: ставили какую-то одну, определенную пластинку, а потом что-нибудь другое, полегче. В следующий раз опять ставили ту же самую пластинку, а к ней опять что-нибудь другое. И в третий раз так же. Пока у них в голове все это прочно не укладывалось и они не начинали понимать, что такое, к примеру, «Полет валькирий», чувствовать настроение музыки, ее подтекст. До сих пор у наших дочерей сохранилась любовь к классической музыке, хотя учиться играть по своей воле они не захотели, а мы их и не неволили, главное, что они любят и понимают музыку, что эта часть души у них заполнена.

Приглашали мы к ним и учительницу немецкого языка, но девочки так безобразно себя вели во время уроков, что языка толком не выучили;

мне было в то время не до того, тем более что учить чему-то родственников невозможно. Я пытался в свое время образовать сестру — безуспешно, потом Веру Михайловну — ни-че-го не вышло из этого дела, с детьми было легче, однако тоже не пошло, потому что языком надо заниматься или все время, или вообще не заниматься.

Моя внучка, Кнопка, с которой я ездил в Баварию, сейчас не только говорит по-немецки свободно, она говорит отменно. По-настоящему ее зовут Вера, у нас три Веры: жена, дочь и внучка, я так решил, чтобы не нужно было запоминать новые имена — шучу, конечно. Все Веры, кроме Оксаны. И внук Боря, Борис Сергеевич. Мне бы хотелось, конечно, чтобы он тоже, как я, был Борис Викторович.

Насчет «Викторович» вспоминаю свой юбилей, пятидесятилетие, которое отмечалось довольно-таки широко. Остроумцы из отдела науки «Комсомольской правды», молодые и озорные Ярослав Голованов, Владимир Губарев, Дмитрий Биленкин и Леонид Репин, выпустили специальный листок, где сообщалось, что композитор Тихон Хренников дал интервью корреспонденту, сказав, что после запуска космонавта-50, то есть меня, советские композиторы ничего путного сочинить не смогли, но приняли решение переименовать оперу «Борис Годунов» в «Борис Викторович Годунов». Такой вот розыгрыш, выдумка Ярослава Голованова и компании. Набрали они подробных шуток на целую стандартную газетную полосу и печатали ее в типографии «Правды», где выходило тогда множество газет. Эту полосу они тиснули по законам Главлита — количеством не более десяти экземпляров, в таком случае виза Главлита не требовалась. Но в это время в типографии находился работник какой-то другой газеты, увидел набор — в космос запущен очередной космонавт — и, конечно же, стал разузнавать, какой космонавт и почему его газета ничего об этом не знает! С трудом удалось отвлечь его внимание, чтобы скрыть мой шуточный «запуск». Кроме того, Голованов и компания поехали к Левитану, и тот своим «левитанским» голосом прочитал им на магнитофон сообщение о полете космонавта-50 так же, как сообщал о полетах Гагарина и других космонавтов. Так что розыгрыш они организовали с большим размахом.

Приведу несколько шуточных пародий, сочиненных «головановцами» для этой полосы — я по сей день храню ее как зеницу ока, и до сих пор ее остроумное содержание вызывает неудержимый хохот, а уж в день моего пятидесятилетия все застолье изнемогало от смеха, когда зачитывались вслух такие вот перлы:

«Памятная беседа

Мыс Пицунда: Товарищ Раушенбах, здравствуйте, рад слышать Ваш бодрый голос.

Раушенбах: Спасибо, спасибо.

Мыс Пицунда: А Вы как меня слышите? Я вот замечательно Вас слышу и радуюсь этому.

Раушенбах: Спасибо, большое спасибо.

Мыс Пицунда: Вот когда Вы так говорите, мне особенно приятно знать, что Вы вернулись целым и невредимым.

Раушенбах: Спасибо, огромное спасибо.

Мыс Пицунда: Мы гордимся Вами. Вы как Икар, то есть, я хотел сказать, как Дедал, залетели сейчас очень высоко, и это нас радует.

Раушенбах: Спасибо от души.

Мыс Пицунда: Приятно знать, что Вы не обломали ни рук, ни ног и даже шею себе до сих пор не свернули.

Раушенбах: Большое спасибо.

Мыс Пицунда: Ну ничего, впереди еще Москва. Встретим Вас, как родного. Закажем ужин в ресторане „Звездный“...

Раушенбах: Спасибо (плачет от умиления в телефонную трубку)».

А вот еще один розыгрыш, «Воробей на орбите».

«Мы, журналисты, которым выпало счастье провожать в космос Бориса Викторовича Раушенбаха, вовсе не ложились спать накануне старта. Всю ночь пробродили вокруг уютного домика, где спал космонавт-50.

Утром нам повезло: Борис Викторович, ладный, какой-то весь удивительно подтянутый, вышел из домика до ветру. Мы окружили космонавта.

— Здравствуйте, товарищи, — он приветливо замахал руками. — Ну, как спалось?

— Замечательно! — радостно закричали мы.

Борис Викторович улыбнулся своей лучистой „гагаринской“ улыбкой. Вместе прошли мы несколько шагов до уютного дощатого „скворечника“.

Через пять минут помолодевший, весь какой-то удивительно бодрый Раушенбах снова вышел к нам.

— Трудно вам работать, товарищи, — улыбнулся он.

— Трудно, трудно! — радостно закричали мы. Но в это время появился Николай Петрович Каманин и прервал нашу беседу.

— Борису Викторовичу надо отдохнуть после сна, — сказал Каманин, — ведь скоро старт...

... „Я — воробей, я — воробей, к старту готов“, — раздается в репродукторе спокойный голос Раушенбаха. Как это замечательно: вслед за „ястребом“, „соколом“, „чайкой“ уходит сегодня в космос наш простой советский „воробей“!

И вот старт. Описать его нельзя. Грохот и дым застлал глаза и уши. Ракета взмывает в голубизну неба.

— Ой, ой, ой, как хорошо! — слышим веселый голос Бориса Викторовича.

Раушенбах на орбите! Обнимаемся, целуемся, очень хочется водки, но некогда, срочно надо писать репортаж в газету...»

Надо сказать, сочиняя эту пародийную полосу, ребята из «Комсомолки» не щадили и себя, безжалостно высмеивая тогдашний стиль газетных репортажей и «откликов на события»...

Я-то вообще не хотел праздновать свое пятидесятилетие, оно и не отмечалось, официально не отмечалось, поскольку я заявил, что не приду. Тогда ведь как было: на предприятии созывалась масса народа, делался доклад о жизни и деятельности виновника торжества, все совали ему адреса и произносили высокие слова. Я категорически отказался от подобного чествования, и когда все поняли, что это искренне, то утихли. Но чтобы не посчитали, что я увильнул, повторил: на чествование не приду, а банкет устраю, желающих напою, я не скупердяй. Думаю, это всех утешило. Банкет удался, прошел хорошо и весело, всем понравилось, правда, мы отсюда вернулись голодные, хотя стол ломился от еды, — столько хохотали и болтали, что есть было невозможно.

На нормальные юбилеи приглашается начальство, все его замы, руководители основных отделов. Я сказал: «Пошли вы к черту, приглашу только прямых начальников, то есть Королёва и его заместителя — но только одного заместителя, он мой прямой начальник, — зато приглашаю всех, с кем связан по работе, вплоть до механика, до рядового рабочего, всех по вертикали». И обид никаких не было, потому что все увидели — у меня другой принцип приглашения.

На улице перед рестораном стояла толпа, потому что разнесся слух о приезде космонавтов, и, хотя ресторан был закрыт, мы его полностью, как говорится, откупили, толпа все равно не расходилась, а из вестибюля доносился голос Левитана! И любопытных уже нельзя было разуверить в приезде космонавтов, тем более, что один космонавт действительно присутствовал, Алексей Елисеев. Приглашенных встречал плакат — список слов и словосочетаний, запрещенных к употреблению. К примеру, «высокоталанливый», «выдающийся», «уникальный», «замечательный», а особенно выражение «в то время, как вся страна...».

Стол «держал», как выражаются на Востоке, тамада Марк Галлай; он очень остроумно избегал запрещенных терминов, находил эвфемизмы, которые вызывали общий хохот. До сих пор жалею, что не пригласил туда дочерей, а они просились. Мне казалось, что для них слишком позднее время, считал их чересчур юными для такого праздника взрослых, и зря: им бы интересно было посмотреть, подобные зрелища не повторяются.

Мое шестидесятилетие мы отмечали дома, это уже как-то не праздновалось, а семидесятилетие тем более. Восьмидесятилетие мы отметили в физтехе, на кафедре теоретической механики, в маленькой комнатке. Перечисляю юбилеи, не упоминая о домашних торжествах, которые происходят каждый год, как и во всякой нормальной семье.

Окончив школу, дочери поступали в высшие учебные заведения. Оксана всегда знала, что она хочет. Поэтому, когда Вера Михайловна «копала» в Подмоскowie, ездила в экспедиции и брала дочерей с собой, после рабочего дня Оксана усаживалась под березкой и учила физику — она решила поступать на физтех, поступила, кончила с «красным» дипломом, сейчас работает в области медицинской статистики, кандидат физико-математических наук, а Вера вместе со студентами играла в волейбол или в другие спортивные игры. С Верой вообще оказалось труднее. Она увлекалась спортом, баскетболом, ей было все равно, где дальше учиться, и она решила посту-

пять в МАИ только потому, что институт славился хорошей баскетбольной командой. Мы не перечили — иди в МАИ. Дочь считала, что спортсменам, особенно баскетболистам, при поступлении будут сделаны послабления, она легко поступит, даже если недоберет нужных баллов. Конечно, мы ее предупреждали — не слушай этих разговоров, но в таком возрасте всегда прислушиваются к совету подружки, а не родителей. Короче говоря, она сдала экзамены и недобрала полбалла. И как раз тогда вышло распоряжение не очень-то нянчиться со спортсменами, ей предложили вместо дневного отделения, на которое она не попадала, идти на вечернее, Вера страшно оскорбилась: как это так, фыр-фыр-фыр, тогда я совсем не пойду. Явилась домой и сообщила: я не прошла. Ну, не прошла, значит, не прошла. Вера Михайловна предвидела такой финал и просила директора Исторического музея зарезервировать для нее единицу уборщицы. Мы сказали дочери: «Иди и работай уборщицей». — «Да, но у вас же все знакомые в МАИ! Разве вы с мамой не можете нажать, чтобы меня приняли на дневное?» — «Нет, мы этого делать не будем». Ей ничего не оставалось, как пойти работать уборщицей в филиал Исторического музея в Боярку, где беломраморные полы, поэтому всегда страшная грязь, нет водопровода, горячей воды. . . И Вера ходила на работу каждый день — к великому возмущению всех наших знакомых, которые считали нас с Верой Михайловной за негодяев и безобразных родителей, не думающих о детях. Но у меня есть железное воспитательное правило: ничего не делать за детей. Ни-че-го! Потому что если я им буду помогать, когда им по семнадцать лет, пробивать им дорогу своим «тяжелым весом», их, конечно, всюду взяли бы сразу, а дальше — жизнь, когда меня не будет. Поэтому Вера вставала в пять утра, к шести приходила в музей, мыла полы, а к моменту появления сотрудников и посетителей музея уезжала домой, готовилась к экзаменам. Она была тогда очень хорошенькой, впоследствии даже стала «королевой красоты» на факультете, и мы с моей супругой решили, что если такая привлекательная девочка поступит куда-то лаборанткой, то появятся ухажеры, она будет бегать на свидания и забросит занятия. А за уборщицей не ухаживают: когда она моет полы, молодые люди еще спят, а к их приходу она уже удаляется домой, громыхая ведрами. Зато полы она научилась мыть великолепно, ни ее мама, ни сестра так не умеют, у Веры это получается мгновенно — берет тряпки, раз-раз, и через секунду уже все вымыто.

Я считаю, что это не жестокость, а разумное отношение к детям, без сюсюканья, такая установка, она и меня сейчас касается, когда я «расхаживаю» свою ногу: меня никто не любит, меня никто не жалеет, я все должен делать сам. Любовь к детям проявлялась не в непрерывной опеке, а в том, что мы брали их с собой в интересные поездки, вместе на машине путешествовали по стране, занимались спортом, ходили в концерты.

Надо сказать, что обе девочки прекрасно учились в школе, я бы сказал так: Оксана блестяще, Вера хорошо. Дружили, у них там образовалась постоянная четверка, всегда вместе, не разбегались по разным мелким группкам и до сих пор сохранили большую привязанность друг к другу. Жили дочери в одной комнате, у каждой — свой письменный стол, два диванчика, на которых они спали. Случалось, что и вздорили, характеры, как я уже упоминал, у них очень разные: Оксана спокойная, в меня, Вера порывистая, в Веру Михайловну. Когда они были маленькими, то мы порой слышали — какая-то возня, драка, что такое? И раздается спокойный голос Оксаны:

«Не вмешивайтесь в наши международные отношения. . . » Через год после неудачи с МАИ Вера поумнела, подготовилась и легко поступила в университет, на биофак — мы даже не знали, где там вход, действительно никогда не вмешивались в их дела. Окончила биофак, работает в университете, преподает.

Оксана вышла замуж первая, за своего сокурсника, физтеховского студента, к сожалению, их брак распался — опыт показывает, что прочен второй брак. От второго брака у нее родилась дочь, которую мы и зовем Кнопкой. Верочка вышла замуж позднее, ее муж кончил мехмат, они прожили двенадцать лет, вовремя не завели детей и расстались в общем-то по глупости, по-моему, это не пошло на пользу ни ему, ни ей. Он безумно любил детей и носился с нашей Кнопкой, как будто это была его собственная дочь, а теперь у него есть свой сын. Вера же не стала больше выходить замуж, родила ребенка от своего друга, он и в метрике Бори записан как отец, бывает у них регулярно, гуляет с сыном, тот зовет его папой — такая вот современная дурацкая ситуация: папа есть, мама есть, они друг друга любят, а семьи нет, живут порознь.

Вера Михайловна ушла из Исторического музея в восьмидесятом году, там была напряженная, сложная обстановка, директор, отставной полковник, считал, да и в прессе это поощрялось, что Исторический музей должен делать особый упор на историю от Октябрьской революции до наших дней. А моя жена с группой сотрудников придерживались иной точки зрения: что существуют музей Революции, музей Советской Армии, пусть они показывают этот исторический период, Исторический же музей должен демонстрировать времена от древности до Октября. По этому поводу происходила масса баталий и случались страшные неприятности. И, конечно, Веру Михайловну заклевали бы, если бы не знали, что у нее муж — академик. Другое дело, что, по мнению моей супруги, я «лопух» и никогда и нигде её не защищаю, но они-то этого не знали. А Вера Михайловна иногда из принципа выкидывала разные номера. Нас, например, пригласили на свадьбу Терешковой и Николаева и на прием по случаю этого торжества. Она говорит директору, что ей надо уйти с работы пораньше. А тот все пытался установить железную дисциплину, которая касалась и Веры Михайловны, хотя она была его заместителем. «Вы не можете уйти с работы на час раньше», — заявляет ей директор, а жена отвечает: «Мне нужно». — «Да что у вас такое случилось?» — «Я иду в Кремль». — «Как в Кремль?!» — «Я приглашена на свадьбу Николаева и Терешковой». Директор буквально взмок от неожиданности. Только это и сдерживало, иначе бы Веру Михайловну стерли в порошок.

Теперь, когда все переменялось, стали говорить о том, что нужно показывать историю России, ни о каком советском периоде уже и речи нет, и бывший секретарь партийной организации, который в свое время Веру Михайловну поедом ел, а ныне директор музея, утверждает, что советский период Историческому музею ни к чему. Но обстановка в музее переменялась, изменились и принципы работы, все только и думают о том, как бы зашибить деньгу, утрачивается элемент научности, ушли фанатики своего дела, а те, кто остался, даже не очень-то пользуются уже наработанным опытными историками багажом.

В музее после капитального ремонта сейчас открыто двенадцать залов, и специалисты, которые смотрели новую экспозицию, пришли в восторг от

качества витрин и художественного оформления экспозиции, хотя вынуждены были отметить, что она не отражает показа исторического процесса развития общества, чем раньше отличался наш музей от иностранных. Вот как об этом говорил один крупный английский ученый, приехавший в свое время в музей: «Я в жизни не мог себе представить, что на археологических материалах можно показать исторический процесс развития общества». Думаю, теперь этого ученого уже ничто не поразит не только в Историческом музее, но и в других областях нашей культуры, искусства, науки. Нельзя передать, какую печаль это во мне вызывает! Я родился и вырос в великой державе, которую уважал весь мир и на представителей которой смотрели с большим почтением. Сейчас — все что угодно, только не уважение и не почтение. Общаясь с иностранцами, чувствуешь в лучшем случае удивление собеседника: да что же это у вас там творится?

Пrestиж страны упал невероятно. А престиж — это совсем не военная мощь и твердый голос, величие страны измеряется не количеством танков и ракет, однако эта формула имеет смысл, если уменьшение числа ракет и танков сопровождается ростом потенциала науки и культуры. У нас же научный и культурный потенциал падает.

Оставим в стороне ракеты — наши и американские. Зададим себе вопрос: сколько в Москве концертных симфонических залов? А в Нью-Йорке? Несопоставимые цифры! То же самое с музеями, библиотеками, школами.

В науке ситуация еще хуже: мой хороший знакомый, профессор Стэнфордского университета (США), рассказывает, что у них при русском отделении филологического факультета всегда была группа студентов неязыковых факультетов (математиков, физиков, химиков), изучающих основы русского языка. Считалось, что заниматься наукой, не зная русского языка, нельзя. А сейчас студенты-технари переключились на японский! В чем дело? Только ли в нехватке у нас денег?

В наше время модно все, к месту и не к месту, вспоминать имя Ленина. Можно к нему относиться по-разному, но одного отрицать не посмеет никто: придя к власти, он планировал развитие России на несколько десятилетий вперед. Историки спорят — эмоции или рациональное начало правили этим человеком? Я бы сказал так: главное — он обладал дьявольской интуицией. Нужна ли была России в девятнадцатом голодном году Сельхозакадемия? Или большой физический институт? А ведь их организовали с расчетом на дальнюю перспективу. И действительно, через несколько десятилетий они превратились в мировые центры науки и дали великолепные результаты. В девятнадцатом году, несмотря на гражданскую войну, руководители государства считали, что оно должно стать великой державой, а это подразумевает великую науку и культуру, мощную экономику. Современные же наши руководители, похоже, только занимают деньги за границей и считают доллары на своих банковских счетах. Мы тихо и бесславно уходим на второстепенные позиции в человеческой истории.

В судьбе государства бывают разные периоды. Случается, что к руководству приходят и недалекие люди. Известный английский писатель Сомерсет Моэм, будучи уже старым человеком, в своей книге «Подводя итоги» рассказал о том, каким ему в молодости виделось правительство Англии — состоящим сплошь из гениальных людей. По мере взросления он понял, что это не так, что выдающиеся таланты — не только редкое явление среди государственных мужей, они просто поражают своим интеллектуальным убо-

жеством, плохо осведомлены в самых простых житейских вопросах и, уж конечно, не обладают тонким умом или живостью воображения. «Из этого я сделал вывод, — пишет Моэм, — возможно опрометчивый, что для управления страной не требуется большого ума. . . » Да, власть делает человека глупее. Пусть нашим нынешним властителям отказывают разум и сердце, но почему молчит интуиция? Почему не проявляет себя генетический опыт, в момент опасности диктующий обычно правильные решения? Почему это понятие выпало из нашей общественной жизни? Почему интуиция не стала палочкой-выручалочкой в политике и социокультурных процессах? А потому, полагаю, что общество наше, увы, движимо сейчас инстинктами самого низшего толка — стяжательства и жажды власти. Третий инстинкт — половой — тоже проявляется в самых худших своих вариантах. Эти сильнейшие низшие инстинкты блокируют более высокие мотивы, правят не только властью, но уже и массами. Отсюда повальное пьянство, самоистребление народа, ощущение, что жизнь кончена, у самых достойных представителей России. А ведь это не так. У истории свой ход, свои замедления, повороты, повторы. Я бы сравнил движение истории с вихреобразным движением в механике, где понятия «вперед» и «назад» очень относительны. Зерно, брошенное в землю, не вдруг даст росток. У истории нет потерянного времени, даже в самой тяжелой ситуации надо стараться жить достойно. Это опять-таки не «ratio» или «emotio» подсказывают, а все та же интуиция: жить достойно — значит жить впрок. На будущие поколения. Конечно, сегодня, во время тяжелейшего кризиса страны, мои слова звучат несколько утопически, но почему бы не пофантазировать?..

Как же случилось, что богатейшая в мире страна пришла в такой упадок, причем упадок наблюдается не только в сфере экономики, науки, культуры, но и в качестве народа? Да, когда-то в России не было класса, который мог бы возглавить страну; дворянство, уместное при крепостном праве, плохо ли, хорошо ли, но в те времена со своим делом справлялось. И все было нормально. Хотя что значит — нормально, само по себе крепостное право — явление ненормальное для XIX века. Но когда его отменили, освободили крестьян, появились разночинцы, которых стали поднимать на уровень дворянства. Это было неестественно, не очень-то получалось, произошел своего рода революционный переворот — в том смысле, что все случилось очень быстро, а не потому, что вспыхнули восстания или бунты, нет, просто произошла слишком крутая ломка людей, психологически к этому не подготовленных.

Если внимательно посмотреть на историю России, на отмену крепостного права, то можно столкнуться с удивительными вещами: крестьяне, например, отказывались освобождаться от крепостной зависимости, некоторые хотели остаться «при барине». Вот и сейчас мы хотели бы остаться «при барине», мы психологически не готовы к тому, что произошло в стране — не восстание, не кровавая революция, а очень резкий поворот событий, слишком резкий. Мы оказались не готовы к свободному рынку, к свободе личности, к свободе общества. Но сегодня уже не скажешь, что в стране нет класса, способного управлять делами, такой класс — хотим мы этого или не хотим — появился, класс, как теперь говорят, олигархов, а проще говоря, хищников, которые опять-таки, по Карамзину, «воруют». И еще вопрос, перепадет ли что-нибудь при этом народу, скажем, та самая десятина, о которой говорится в Библии.

Косвенно это может получиться. Ну, во-первых, правящему классу все-таки нужно что-то делать, что-то производить, а не только присваивать, и невольно часть народа будет иметь хотя бы заработок. Конечно, он ни в какое сравнение не пойдет с тем, что народ производит. Основная добыча, как всегда, достанется эксплуататорам, то есть вора́м, но какая-то часть перепадет и эксплуатируемым. Основной прибылью всегда будет обладать правящая верхушка. Она и сейчас живет лучше, чем верхние слои на Западе. Поэтому когда и благодаря чему русский народ станет жить лучше, пока неизвестно. Тем более что сегодня нас сравнивать с Западом в этом плане смешно. На Западе богатым людям жить труднее, чем у нас, потому что там умыкание чужих денег считается делом неприличным, надо вкалывать самим и платить при этом налоги. У нас же хищение считается делом, достойным современного «благородного» сословия, ибо у них у всех рыльце в пушку, как же им признать, что воровство — недостойное занятие!

Присваивать всегда легче, чем производить, поэтому у нас больше миллиардеров, больше «мерседесов», чем, скажем, в Германии, наши весьма изобретательны по части прикармливания. Я просто-напросто не знаю, как это сейчас делается, но посмотрите: они деньгу гребут, а страна ничего не производит и ничего не получает, кроме займов. Прослойка олигархов, весьма «жирная», ничего не даст производить народу и торговать своей продукцией внутри государства. Абсурд, казалось бы? Ничего подобного. Чиновникам, к примеру, выгоднее заключить договор с Западом и получить «что-то» очень важное для страны оттуда за наши деньги, потому что, как мне говорили, при такой сделке 7–10% наличными они кладут себе в карман. И поэтому наши российские предприниматели, выпускающие отечественную продукцию, не могут её протолкнуть внутри страны.

На пороге XXI века можно оценить нашу эпоху как эпоху жестокою, если иметь в виду Россию. Для всего мира она сложилась по-другому, там другие градации. За «бугром» жизнь шла иначе, несмотря на войны, а мы все время совершали какие-то резкие скачки — вперед, назад, влево, вправо, вверх, вниз. И каждый раз это было связано с мордобоем, с криком, что вокруг нас враги, ибо без врагов у нас ничего никогда не получалось. И враг представлялся непременно страшным, который приведет страну к гибели и все такое прочее. А, может быть, надо, чтобы Россия погибла? Может быть, вообще надо, чтобы человечество погибло, выразимся так? Я понимаю, что от подобных вопросов, вполне риторических, мороз подирает по коже. Но ведь мы ничего не знаем, мы надеемся, что есть некая высшая положительная сила, условно говоря, Бог, которая нас всячески пытается спасти, однако не представляем, что за этим скрывается, что там имеется в виду... Существуют же разные теории неких сумасшедших ученых, считающих, например, что Земля избрана Богом не для счастливой жизни, а для того, чтобы на ней отшлифовывать души. Если душа после смерти переходит в новое тело, то она должна учиться на ошибках, поэтому ошибки необходимы. Если все пойдет идеально, душа ничему не научится. Для этого, мол, и нужна Земля, то есть плохое место, по-современному полигон, где души пройдут науку. Не буду говорить, правильная это теория или неправильная, но она существует, и размышляя на эту тему, можно прийти к некоторым странным умозаключениям. Как писал опять-таки английский писатель Ричард Олдингтон: «Мы все Великий эксперимент. Я не знаю, для чего нужен этот эксперимент и чем он вызван. Когда я настроен

пессимистически, мне кажется, что он уже провалился».

У нас этот эксперимент ведется за счет народа. Вообще все у нас делается за счет народа. Наши войны, победы, восстановление экономики, строительство государства — все наши свершения делались и делаются за счет народа. Поэтому предсказаниями и заклетами астрологов Россию не спасешь. Мне лично кажется, что все эти предсказания ангажированы. Россию не сравнишь ни с одним государством на Западе. Да, по европейским понятиям она никогда не была цивилизованной страной, в европейском смысле, я подчеркиваю. Россия цивилизована по-своему. История России совсем непохожа на историю Европы, и, конечно, Россия не могла стать Европой, она всегда раздиралась между Востоком и Западом — хотя бы в силу своего географического положения. Но понятие «цивилизованный» пришло к нам из Европы, вот почему неевропейское и кажется нам нецивилизованным, хотя на самом деле все может быть наоборот: к примеру, цивилизована не Европа, а Китай. Это я для сравнения. Все зависит от точки зрения.

Сейчас понятие цивилизованности стало уже международным, и тут мы выглядим не очень хорошо. Главным образом потому, что наше руководство, власть — люди в большинстве своем отрицательные, им на Россию наплевать, от них ничего хорошего ждать нельзя. Я все время повторяю, что они типичные временщики: дорвались до власти, понимают, что ненадолго, — успеть бы нахватать и загрести как можно больше, пока «царствуют». Знай они, что царство продлится и после кончины — в лице сына, внука, — в этом как раз преимущество старых династических порядков, монархий, где монарх более всего печется о стране, понимая, что должен беречь и приумножать ее богатство ради своего наследника, — то, может быть, и не воровали бы. В этом смысле монарх лучше президента, который соображает, что его в следующий раз не выберут, поэтому за текущие четыре года власти надо набить карманы и перевести деньги в Швейцарию на имя жены или племянницы. . . Думает ли такой человек о благе собственного народа?..

Беспощадный и безжалостный правитель Тимур Гураган, Тамерлан, считал, что Всевышнему угоден тот государь, при коем народ сыт, где за труд дается справедливая плата, когда за свой заработок простой человек может взять то, что ему нужно; что государю надо жалеть вдов, лелеять сирот. . . Это было сказано жестоким сатрапом на рубеже XIV–XV веков. Сейчас на дворе 1999 год.

Я не считаю себя ни скептиком, ни романтиком в чистом виде, во мне, как, наверное, в любом мыслящем человеке, есть и то, и другое, одним словом — здравая смесь. Есть во мне романтическая струя, есть и нечто более приземленное. Но доверчивым я был всегда. Очень доверчивым. Например, я больше, чем надо, верю официальной пропаганде, тому, что пишут в газетах или вещают по радио, и просто неисправим в этом смысле. Я наивно продолжаю верить тем врунам, которые сбивают нас с толку, хотя отлично вижу, что во главе нашей страны стоят совершенно «безрукие» люди, вызывающие у меня не лучшие чувства, какой бы сильной ни была во мне романтическая струя. И в каком-то смысле я болею за Россию, получившую подобное руководство. Другой вопрос, достойна ли Россия, чтобы за нее болеть? Я сознательно заостряю внимание на этом вопросе, хотя кое-кому он может показаться нетактичным.

Дело в том, что на наших глазах народ спивается, спивается до безобразия, травится наркотиками, вымирает — смертность в России уже несколько

лет превышает рождаемость, многие дети появляются на свет уродами, а сколько матерей оставляет своих чад в родильных домах — нечем кормить, не на что поднимать ребенка на ноги. . . Быт у очень многих неустроен — казалось бы, взбодрись! Да, время трудное, да, мизерная плата, копейки, но все равно работай, работай, работай! Ищи опору в жизни! Русский человек всегда отличался трудолюбием. Нет, опускаются руки, опускается голова, и сам человек опускается на дно, спивается, зачастую спивается и его семья, заботу о детях берет на себя государство и, как правило, делает их еще большими уродами. . . Как болеть за мою родную Россию? За такую Россию?..

И всё равно мне её нестерпимо жаль, нашу страну. Казалось бы, думая о судьбе России, в которую, по словам поэта, можно только верить, я в самые отчаянные минуты мог бы сказать себе, пытаюсь успокоиться: «Ведь ты же немец, дружище. А в Германии все в порядке!» Но это слабое утешение, точнее, совсем не утешение. Стоит — не стоит болеть за Россию — это не то слово. Как же может быть иначе, ведь здесь все родное, и то, что в Германии порядок, меня отнюдь не успокаивает, наоборот, боль за Россию становится еще острее.

Прежде, и я об этом уже упоминал, я был человеком в полном смысле слова необщественным. Меня совершенно не интересовало, кто стоит у руля государства. Я не размышлял о том, справедлив или нет гуглаговский социализм. Когда в сталинские времена друзья говорили мне, что опять кого-то посадили, думал: «Посадили — значит, за дело».

Должен признаться, что и мой арест в сорок втором году эмоционально меня не встряхнул. В конкретном случае со мной, рассуждал я, это еще и справедливо. Ведь меня ни в чем не обвинили, просто взяли и посадили, поскольку по анкете я немец. Чего же еще можно ожидать во время войны с Германией?

Долгое время я жил только техникой, рациональным подходом ко всему. Работает ли двигатель, как сделать, чтобы эта «штука» зафурыкала? Полетит — не полетит? А к остальному у меня, как говорится, было ноль эмоций. Редко что-то встряхивало.

Помню, на втором курсе института я заинтересовался задачей из области планеризма: какое удлинение крыла выгоднее? Какой должен быть угол атаки? Какие размеры и формы? Возился, возился, и вдруг, подобно вспышке, пришло решение. Я (в кои-то веки!) разволновался, побежал к заводским инженерам, те, выслушав меня, страшно удивились и сказали, что это — самое настоящее открытие. Теперь-то я понимаю, что открытие было копеечным, но тогда, осознав, что мне под силу создать что-то на пустом месте, я уже не мог остановиться. Голова все время была занята какой-то задачей, подсознание неожиданно выдавало результат в самых странных ситуациях: однажды решение пришло в парикмахерской во время бритья, в другой раз — когда я переходил улицу. . .

И самое большое потрясение в жизни опять-таки связано с работой — полет Гагарина. Разговор с ним перед стартом. Сильное напряжение до полудня, а потом, когда полет завершился, резкое облегчение и. . . блаженство. То был, повторяю, романтический период моей жизни, да и всей страны, пожалуй.

История России в этом столетии для меня, как ни странно, укладывается в две песни. Одна олицетворяет романтическое время — «Гренада»

Михаила Светлова, «... пошел воевать, чтоб землю крестьянам в Гренаде отдать». Финал же уместился в строках песни Владимира Высоцкого «все не так, ребята!». Сколько в ней горечи за все, что с нами стряслось (и еще стряется!), сколько отчаяния в крике человека, который давным-давно всё понял.

Все не так, ребята! Вот с этим ощущением я сейчас и живу. Хотя со стороны может показаться, что я по-прежнему «над схваткой»... На самом деле я «в глубине», и когда думаю, как же сейчас спасти Россию и можно ли вообще ее спасти, то скажу откровенно: это довольно трудно, ибо качество народа падает. Стремительно падает. Раньше выход имелся, раньше нетронутая, здоровая Россия жила в деревне, в глубинке. И даже если городские низы спивались, из деревни всегда могли прийти здоровые силы, во всяком случае была на это надежда. Сейчас надежды нет. И в деревне пьют не меньше, чем в городе. Раньше там человека спасал физический труд, крестьянина нужда заставляла что-то делать, чтобы выжить на малом пространстве земли, он был слишком на виду у своего малого общества, а позориться в прежние времена не каждый рисковал. Деревенское общество отличалось тогда весьма крепким здоровьем — нравственным и физическим.

Теперь не то. У нас пьянство прямо-таки пропагандируется, и я даже жалею, что нет Главлита на передачи по телевидению, где на всех уровнях все чокаются, все пьют, и это считается неременным условием всякого собрания, хорошим тоном. Я бывал на многих правительственных приемах, от которых сохранились одни отрицательные эмоции — на таких тусовках некоторые напивались так, будто весь смысл жизни заключался в этом.

А если спуститься ниже, в другие социальные слои, которые не посещают правительственные приемы, может, там есть надежда на спасение? Но рабочего класса как такового у нас почти нет, всех истребили, сделали безработными. Нынешнюю крестьянскую жизнь я не настолько хорошо знаю, чтобы возлагать на этот класс какие-то надежды. Беда в том, что все копируется с Москвы — и в провинции, и в других городах, и в деревнях. Смотрят телевизор и копируют модную жизнь. Раньше, наряду с крестьянством, большой силой в России была армия, потому что туда приходили в основном крестьянские дети, неповрежденные молодые люди. Но сегодня армия сильно изменилась. Ее боятся, всячески увивают от нее, просто бегут, не хотят служить. И сама армейская структура стала несколько странной — нет ни средних, ни младших командиров, одни генералы сидят. А им не важно, что происходит с младшими чинами. В строгом смысле слова, армия никогда не спасала Россию буквально, но всегда была сильным элементом внутри державы, приучала людей к дисциплине, к порядку. Недаром на заводах и в учреждениях любили брать на работу людей, отслуживших в армии. Не потому что они в армии ума набирались, а потому что она их приучила к дисциплине, к тому, что приказы надо выполнять, разгильдяйство недопустимо. Армия являлась необходимым элементом жизни не только как потенциальная защита Родины, это само собой разумелось, она играла огромную роль как воспитатель масс в хорошем смысле этого слова, уравновешивала баланс: народ — мирские захребетники.

Ленин предостерегал в свое время Россию от непомерного увеличения чиновного люда, бюрократического аппарата. Сегодня этот аппарат раздут как никогда, это очевидно, всем давно ясно, и не нужно прилагать никаких

особых усилий, чтобы понять, что дело обстоит именно так. Невооруженным глазом видно, что баланс здесь нарушен катастрофически. Автор «Законов Паркинсона», англичанин Сирил Н. Паркинсон, в своем юмористическом, но очень умном произведении — издевательстве над современным обществом (и это один из законов Паркинсона), — в частности пишет о том, что многие люди склонны усматривать некую связь между количеством работы, которая сделана, и временем, которое на нее затрачено, но это не так, потому что работа, как и газ, обладает свойством заполнять все отведенное ей время. Так, скажем, какой-нибудь высокопоставленный чиновник может целый день убить на то, чтобы сочинить некое письмо — подбирать нужную бумагу, размышлять над цветом чернил, над обращением к адресату и прочее. Такой метод «работы» широко практикуется у нас сейчас. Все при деле, что-то исполняют, целый день заняты — я имею в виду, конечно, в первую очередь, бюджетные организации, — утомленные в конце дня плетутся домой именно потому, что работа обладает свойством заполнять все отведенное ей время. Если бы на это письмо чиновнику отвели полчаса, он бы и сделал все за полчаса. Но кому это надо? Никто этого не хочет. И растет количество комиссий и подкомиссий в президентских структурах. Я был в составе подобных комиссий и должен признаться, что это самое пустое времяпрепровождение. Потому что на проверку все думают о своем, и никто не думает о том, о чем действительно идет речь. Два-три человека ведут заседание, остальные сидят — кто картинки рисует, кто мордочки. Такие люди не спасут Россию, да они и не собираются, зачем?

По пародийному закону Паркинсона эти люди достигли уровня своей некомпетентности. Говорят, что одна из крупнейших американских фирм, обнаружив у себя массу ненужных людей, которые за несколько лет работы в этой фирме показали, что вообще не умеют заниматься никаким делом, то есть достигли максимума своей некомпетентности, — выделила их в особую группу, чтобы они никому не мешали работать и не вникали в важные дела фирмы. По какому-то там закону уволить их не могли, оставили на работе и даже платили им некий минимум-миниморум, с условием, что они не полезут ничего делать. Создали, грубо говоря, некий «заповедник».

Если говорить серьезно, уровень некомпетентности достигается человеком всегда. Человек растет, пока компетентен, достигнув же уровня некомпетентности, он останавливается, и поэтому дальше его незачем поднимать. То есть если продвигать его дальше, он ничего достойного внимания не совершит, он и так сделал все, на что был способен: прошел путь от школьника, который учился, до рядового инженера, который продолжал учиться, но уже учил и других, все было хорошо, он повышался в должности и наконец достиг уровня некомпетентности. Если такой человек сидит в правительстве, его не уволишь, и начинаются перетасовки, переброски. А толку никакого, ибо тысячелетний опыт человечества доказал: человек — редкое животное, которое может жить в любых условиях. Нормальное животное в этих условиях погибает, а человек выживает. Выживает и чиновник, особенно высокого ранга. Я как-то в шутку сказал, что талантливый человек становится математиком, художником, и только те, кто ничего не могут, идут в политику. Это подтверждается ежедневно. Наш президент, к примеру, действует так, словно единственная его забота — хоть какое-то еще время продержаться у власти. Он думает не о нашем будущем, не о будущем страны — о своем личном. Это очень волевой человек, властный, но не

умный, я бы так его охарактеризовал. Он может все уничтожить, лишь бы остаться начальником. Уничтожить не в смысле расстрелов, конечно, а просто спихнуть, задавить и так далее. И ему важно командовать — кем и чем командовать, все равно. Я говорю о своем личном впечатлении. Он может быть, например, директором прачечной, но директором! А тут случилось стать директором страны, тем лучше! Главное командовать, все остальное для него — второстепенно: ему совершенно неинтересно, что происходит в подведомственном ему государстве.

Я считаю, что имя Ельцина, безусловно, останется в истории России, но оно будет вписано туда не просто черной краской, а дегтем. Ведь дегтем мазали когда-то ворота, позоря хозяина. Ради корыстных интересов он развалил прекрасную страну, сделал массу вещей, которые причинили вред народу — его народу! Зато он — начальник! На пользу его правление никому не идет. Я уже говорил когда-то, что после царя Николая пришел царь Сталин, потом царь Хрущев, потом царь Брежнев — Андропов и Черненко слишком недолго были у власти, чтобы выйти в цари. А теперь вот у нас царь Борис.

Бог наказал Россию, позволив встать во главе ее Ельцину.

«Все не так, ребята!» Гомер, как известно, призывал познавать мир мыслью и сердцем, то есть на рациональном и эмоциональном уровне. Очевидно, оба эти уровня сознания должны проявляться в действиях и государственных мужей. Они и проявляются — с точностью до наоборот. Политические проблемы решаются на уровне эмоциональном в тех случаях, когда эмоциям не место. Вспомним хотя бы, как наш президент вспылал по пустячному поводу и отказал в приеме Ричарду Никсону. Вспомним, как началась война в Чечне и как во время этой войны эмоциональные решения принимались там, где следовало бы действовать, руководствуясь разумом, а рациональные — там, где необходимо было «на всю катушку» включить эмоции.

Я — человек весьма тупой в смысле эмоций. Но когда я сегодня думаю и говорю о судьбе России, то включаюсь «на всю катушку».

Глава 7

У меня нет будущего. Звучит парадоксально, и я даже шокировал таким высказыванием одну собеседницу, но это факт. Разумеется, я не достиг своего потолка, но могу твердо сказать, что президентом России уже не стану. У меня все в прошлом — академик, профессор, лауреат, — я все прошел и сейчас могу двигаться только «вбок» — влево, вправо, растекаться мыслию по древу, «ответвляться». «Вбок» — тоже движение, и в этом смысле я могу устремляться довольно далеко, но вверх, вперед, ура-ура — этого уже нет.

Привычка к «ответвлению» выработывалась у меня в детстве, в юношеские годы, в зрелости, я всегда действовал немножко «вбок». Вопрос, которым я в свое время задался: можно ли управлять космическим кораблем по экрану и соответствует ли то, что космонавт видит на экране, тому, что происходит в действительности, — а это все было связано с перспективой — впрямую имел отношение к работе в космосе, а «вбок» я пошел, написав книги о теории перспективы в изобразительном искусстве. Занимался чисто космическими делами, а результатом стали книги по теории перспективы. В дополнение, конечно, к основному результату.

Позволю себе повториться, но мое желание работать, условно говоря, над второстепенной задачей в науке, за которую до меня никто не брался, продиктовано, по моему убеждению, моей патологической ленью. Я не в силах читать всего, что написано по проблеме, которой мне предстоит заниматься, мне легче взять другую проблему, пусть и второстепенную, где почти нет литературы. Железная логика, не правда ли?

Начинал-то я как все: приступая к работе в какой-то области, знакомился с литературой, с источниками, то есть в молодости пытался все делать по правилам. И испытывал такую скуку, такую тоску! Заставлял себя, чертыхался, плевался — и не мог читать чужих работ! Я, знаете ли, следовал анекдоту о чукче, который стал писать романы, и когда его спросили: чукча, ты все пишешь романы, а хоть один прочитал? Он ответил: чукча не читатель, чукча писатель. Так и я — на первой же странице какого-нибудь ученого трактата умираю от скуки и засыпаю, и в результате ничего не знаю кроме того, что выдумал сам.

Я, конечно, имею в виду работу так называемого классического типа. Восторгаюсь тем, как молодой ученый зарывается в груды научной периодики, прилежно ее изучает, но сам так не могу. Восторгаюсь, что молодой ученый в курсе всей мировой литературы, он знает, что по этому поводу написано в прошлом году в Англии и в позапрошлом в Америке, что у нас говорилось на последней научной конференции, назубок цитирует интерес-

нейший доклад какого-то там Кубышкина — а я ничего не знаю, потому что меня это совершенно не интересует. И из него получится настоящий ученый, я же — не настоящий, а, скажем так, «боковой» ученый. Условно говоря, я делал то, что никому в голову не приходило делать. И это, на мой взгляд, единственно возможный для меня способ жить в науке, я не притворяюсь, я делаю свое, они делают свое — и слава Богу.

Сейчас, когда у меня возникли проблемы со здоровьем и я в состоянии писать только эту книгу, то есть вспоминать жизнь, то, что было, я прохожу период своеобразного «окукливания». В какой-то момент из куколки вылетит бабочка, тогда посмотрим, что получится. А пока классическая наука, которой я занимался раньше, для меня в прошлом. Тот, кто работает сейчас, кто «в процессе», лучше меня разбирается во всех вопросах. Я мог бы сейчас консультировать только тех, кто в этих вопросах не разбирается — киностудию, например, которая хочет поставить фильм о космосе, — но в космической фирме себя консультантом не вижу. Много изменилось с тех пор, как я работал. Поэтому сейчас я как бы окончательно ушел «вбок». Если в юности мне всегда хотелось прыгнуть влево-вправо и посмотреть, что там, там и там, то это диктовалось естественным желанием молодости уйти от занудства, царившего в школьных и в институтских устоявшихся учебных курсах. Ограничиваясь только ими, становишься односторонним, а хочется знать гораздо больше. Если меня, скажем, учат чему-то мне не интересному, я кое-как отбреживаюсь, ну их к черту, а если предмет меня заинтересовал, то, конечно, стоит тратить время, уходить влево-вправо от него и там обнаруживать всякие интересные неожиданности.

Всегда, и в школе, и в институте, и дальше, у меня было что-то «боковое», почему-то меня интересовавшее. Если бы не эта черта, я бы вообще ничего в жизни не добился как ученый, не потому, что стал бы уходить от и, а потому, что свойство уходить вправо-влево делало меня желанным сотрудником тех, кому нужны были именно эти «влево» или «вправо», а не «прямо», которое все знают.

Думаю, таково свойство моего характера. Академик Кнунянц занимался реставрацией старинных живописных полотен, академик Мигдал — скульптурой. Я в свое время задумался о математических аспектах кровообращения в человеческом организме, о сущности троичности, о перспективе... Интересная это штука, развитие «вбок». Зачем, собственно говоря, мне нужен был Китай? Я не собирался заниматься им профессионально, он не входил в мои планы, но увлекся совершенно неожиданно для себя самого, Китай стал моим развитием «вбок», защечными мешками, в которые что-то откладывается про запас. Причем совершенно бескорыстно. Ничего мне впереди не светило, интересовало даже не содержание китайских романов, а то, пойму ли я в конце концов, что у китайцев в характере главное. И мне, по-моему, открылось это главное.

Когда я принялся за средневековые китайские романы, сначала просто заставлял себя их читать, как на каторгу шел, с трудом одолевал текст. Конечно, я мог избрать путь полегче, ведь китайцы работали в разных литературных жанрах. Очень хороши их новеллы, особенно эпохи Тан, это примерно тысячу лет назад; читать их легко и приятно, хотя по содержанию они странные для нас, европейцев: лисы какие-то расхаживают, беседуют друг с другом (китайцы считают, что лиса иногда принимает облик человека, а человек — облик лисы). Но в конце все становится понятно, новеллы

вполне элементарны. А вот романы!..

Все пять классических романов я прочел от корки до корки, один, правда, не полностью — он недопереведен. Убил на это кучу времени. И стал понимать китайцев, что-то у меня забрезжило, замаячило перед внутренним взором — смысл их перевоплощений, воскрешений, умираний. И теперь могу сказать: китайцы для меня очень понятные люди. Понятные по поведению — они предсказуемы.

Отмечу в скобках, что китайские средневековые романы для европейца нестерпимо скучны, он начинает получать от них удовольствие, прочтя примерно тысячу страниц, если, конечно, не бросит на полдороге. И только тогда он вживается в этот мир, и этот мир начинает ему нравиться, захватывает, вбирает в себя: китайская культура имеет свою внутреннюю логику. Но первую тысячу страниц можно преодолеть только усилием воли и нудной настырностью: плюешься, но читаешь. Не потому, что литература плохая, она другая, не европейская. Совершенно по-иному построена, должен признаться, кое в чем вначале омерзительна, но зато потом... Недаром говорится, что сначала надо узнать, потом — полюбить.

Если танские новеллы можно читать без всякой подготовки, в общем литературном ряду, то в романах предполагается, читающий знает историю Китая. Например, написано, что когда Лу Си увидел Му Си, он поступил так-то, я, ничего не зная о предыстории, ничего не понимаю, а китайцу все понятно. Когда у нас Пушкин едет свататься к Натали, нам все понятно, а рядовому китайскому читателю это ничего не говорит; несмотря на всю предсказуемость, у китайцев есть понятия, в которые они вкладывают совершенно обратный нам смысл. У них, например, не понятное мне, честно говоря, отношение к старшему, невероятное уважение — когда-то, в пору расцвета наших добрых отношений, они называли Советский Союз «старшим братом», и эти слова имели особый смысл по сравнению с тем, что мы в них вкладываем.

Приведу такой пример из классического китайского романа: к китайскому императору приходит боевой армейский офицер с донесением с поля боя, у них, офицера и императора, выражаясь по-нашему, одинаковые фамилии. Начинается выяснение, не являются ли они родственниками, и обнаруживается, что пришедший офицер «пятнадцатиродный» дядя императора! И тут же, сойдя с трона, император отдаст ему поклон как старшему. Поэтому когда китайцы называют кого-то «старший брат», то для нас это звучит обыкновенно, а для них по-особому.

Конечно, все это происходило в средневековом Китае, сейчас вряд ли сохранился такой пиетет по отношению к старшему, ну, может быть, в деревнях, в народе, а так подчеркнутое уважение к старшим вряд ли кто испытывает, они все-таки прошли через «культурную революцию» и через все, что за ней последовало...

Начитавшись китайской прозы, я встретился с крупным нашим китаеведом, настоящим знатоком этой страны А. П. Рогачевым, к сожалению, он уже умер. Алексей Петрович долгое время жил там, много лет читал в Московском университете лекции по Китаю, положив всю свою жизнь на то, чтобы перевести на русский язык, донести до нашего читателя бесподобную китайскую прозу. Конечно, как всякий автор или переводчик — здесь это неважно, — он интересовался, воспринимаются ли эти произведения читающей публикой, и все его знакомые, которых он спрашивал, говорили

ему: «Да, очень любопытно, очень мило, с удовольствием прочитал!», хотя на самом деле книгу и не открывали. Читать такие романы — своего рода подвиг, и, если кто-то их не одолел, нельзя его осуждать. Я-то прочитал, но прочитал, считаю, из какого-то дурацкого упрямства.

Встречаемся, значит, мы с Рогачевым, заводим разговор о романах, и я у него спрашиваю как у специалиста-китаеведа о каких-то непонятных мне местах. Он вяло отвечает: «Да-да, я вам все объясню», подозревая, что это очередная любезность по отношению к нему как к переводчику. И я начинаю задавать вопросы: почему этот китаец сказал тому китайцу такую вот фразу? Потом задаю еще один вопрос, еще один. . . В руках у меня Рогачев видит длинный список вопросов, штук пятнадцать, и понимает вдруг, может быть, впервые в жизни, что перед ним человек, который на самом деле добросовестно прочитал все его переводы, да еще и вопросы задал по тексту. Он так поразился, что на следующий день прислал мне учебник китайского языка! Как всякий профессионал, одержимый своим любимым делом, Алексей Петрович искренне полагал, что если я уж так заинтересовался Китаем, то должен учить китайский язык. Кто-нибудь, возможно, здесь улыбнется, но признаюсь: иероглифы я начал одолевать, даже сейчас могу написать по-китайски «Срединное государство», что означает — «Китай». Оказывается, не так это трудно, любой человек может постичь «китайскую грамоту», если его притягивает Восток.

А я тогда очень увлекся Китаем и всем китайским. После войны — я имею в виду Великую Отечественную — у нас наладились с этой страной очень хорошие отношения, и многие русские, даже родившиеся там, в эмиграции, вернулись в Россию, в Москву. И к нашей соседке по коммунальной квартире тоже приехали родственники из Китая, которые там родились и выросли, и подарили моей жене красивую недорогую серебра брошь-заколку в виде иероглифа. Я перерыл массу словарей, пока не расшифровал иероглиф, он означал «счастье» или «долголетие». Но не в этом дело. В рассказах приезжих китайцев, брата и сестры, которые были наполовину русские, наполовину грузины, меня поразило то, что развитие и даже своеобразие русского языка в группе наших соотечественников, живших в эмиграции и, казалось бы, полностью отрезанных от нас, — мы ведь в те годы были очень обособленной страной, — шло в том же русле, что и у нас, включало те же термины и сленговые обороты. Например, словечко «железно», бывшее тогда у нас в большом ходу, донеслось до них, они употребляли его, подражали нам во всем, судорожно подражали метрополии. Это закономерно, люди, живущие вдали от отечества, всегда пытаются от него не отстать. И если мы можем плюнуть на какое-то слово и забыть его, то они все подхватят и выучат. . .

Вспоминается любопытная история с игрой, называемой у нас «маджонг», по-китайски «мадзян». Игре этой я научился в одном пансионате, познакомился там с человеком, который привез «мадзян» с собой и приохотил меня к ней. Не могу передать, как она меня захватила: вернувшись домой, я обегал все комиссионки, пока не купил все-таки «мадзян», и научил игре всю семью. Мы и до сих пор в нее играем. А главное, я купил «мадзян», сделанный не для европейцев, а для китайцев: в нем одна из мастей — китайские цифры от единицы до девятки. Когда игра делается для европейцев, то на косточке вырезается дополнительная арабская цифра, понятная игроку; у моего «мадзяна», к моей радости, этого не было, он

настоящий, не приспособленный для европейцев.

«Маджонг» — английское произношение «мадзян», которое привилось и у нас. Игра очень хорошая, смесь домино и шахмат, если хотите, она и внешне похожа на домино, потому что надо складывать, приставлять друг к другу косточки, очень красиво сделанные: нижняя часть косточки из дерева (бамбука), верхняя — из слоновой кости, и по верхней части нанесен рисунок — обозначение масти и цифра. Для того чтобы играть в нее, нам пришлось выучить правила и запомнить все китайские обозначения. Руководство к игре было написано на английском языке, так что здесь мне не пришлось даже искать иероглифы, когда я составлял шпаргалку для начинающих.

Откуда, спрашивается, у нас такой интерес ко всему восточному?

Особенность России в том, что она смесь Востока и Запада, смесь, иногда не очень приятная на вкус. Восток, в старых российских представлениях, был олицетворением коварства, лени, продажности, некоторой даже пакостности, а Запад — европейской культуры. Хотя можно все поменять местами, и это тоже будет соответствовать истине, ибо что такое коварство одного народа в понимании его другим народом? Просто несовпадение понятий «хорошо» и «плохо», о чем я уже неоднократно говорил. Бальзак писал: «То, что в Европе вызывает восторг, в Азии карается». Россию всегда тянуло на две стороны. Хотим мы этого или не хотим, но татаро-монгольское иго многому научило русский народ, внедрилось во многие сферы его жизни. Даже в русском языке до сих пор «торчат» слова монгольского происхождения, слово «лошадь» например (по-русски «кобыла»), но мы уже не замечаем этого, мы его уже «переварили» и сделали русским.

Сейчас полным ходом идет всеобщее переваривание, перелопачивание, нивелировка отдельных национальных культур, их слияние в некую мировую культуру. Не хочу утверждать, что это плохо, не хочу утверждать, что хорошо. Но нивелировка идет, и очень четкая. Утрачиваются нюансы, которые до сих пор сохранялись в национальных культурах, они теряются в большой «всеобщей» культуре, там берет верх вселенское начало. Может быть, это и правильно. Если человечество не вымрет к тому времени, оно будет единым, все постепенно сольется, но на этом этапе пока еще ничего не слилось. Говоря о Китае, надо отметить: да, некая нивелировка происходит и там, но Китай, как ни одна страна в мире, сохранил в себе, будто в коконе, все лучшее, свойственное только ему. Средневековье сидит в китайцах генетически.

С удовольствием написал бы о Китае книгу, но нельзя: слишком хорошо знаю Китай, чтобы понимать — никогда ничего написать о нем не смогу. Именно потому, что много о нем знаю. Если бы не знал, то написал бы: «Ах, Китай, как интересно!» Но я знаю, поэтому у меня ничего не выйдет, слишком своеобразная и загадочная страна. Китай серьезная вещь, вещь в себе. Когда я побывал там, то еще лучше это понял, хотя и до поездки знал многое. Китай нельзя взять наскоком. Ну что вы хотите, культура, и, может быть, единственная в мире, которая не прерывалась несколько тысячелетий. Египет был и умер. Древняя Греция была и умерла. Древний Рим был и умер. Потом наступила эпоха германских вторжений, эпоха Возрождения, и так далее. . . Но у европейцев не наблюдалось непрерывной линии развития, как у китайцев. В Китае одна императорская династия сменяла другую, но в культурном плане они практически ничем не отличались.

Шло медленное естественное развитие страны без всяких резких поворотов, и главным было сохранить то, что важно, традиционно и удобно. Все это сознавали и заранее знали, что для этого надо и чего не надо делать, все было расписано наперед.

У нас в Европе не существовало такой непрерывности прямой линии, такой логики развития, Европа безумствовала в войнах. Может быть, это дало некоторый толчок развитию ее структуры, ей противопоказана неподвижность, когда ничего не происходит. И у нас всегда что-то происходило, браковалось и отбрасывалось плохое, оставлялось хорошее, с какой-то точкой зрения. Шло движение вперед. Неудивительно, что в Европе началось развитие естествознания, техники. А Китай все время жил на свой лад. И возьмись я сейчас писать о Китае книгу, получится развесистая клюква или банальность. А ни клюквы, ни банальности не хочется.

Да, Китай был и остался. Не понимаю, в чем секрет такой живучести, как это получилось — из-за оторванности Китая от всего остального мира, что ли? Как выразился Пушкин: «До стен недвижного Китая. . .»! Мир не знает ничего похожего, не меняющегося тысячелетиями. Может быть, такая психология народа, может быть, положение страны на «окраине» мира, мировых процессов. Китаю там, на «окраине», никто не мешал, никто не подавлял его, ничего там не происходило экстраординарного, кроме, конечно, династийных междоусобиц. Никто не вмешивался со стороны. Китай был отделен, к примеру, от России, ближайшей к нему страны, огромными географическими пространствами, и какие-нибудь марко поло могли туда проникнуть лишь однажды, на второе путешествие их жизни уже не хватило бы.

Все-таки Восток очень мало двигается во времени, и это даст совершенно поразительный результат сохранения в народе чего-то невероятно ценного, нетленного для самого народа, и, таким образом, для мира. Это, я сказал бы, непрерывное самоутверждение. Весь мир в области искусства перешел на некий ширпотреб, а в Китае до сих пор сохранилось искусство «штучное», многое там делают ручным, то есть уникальным способом. Может быть, это объясняется тем, что в Китае очень много народа и надо каждому дать работу.

Не стоит только думать, что Китай, сохраняющий свои древние традиции, отстал от современного мира. Не отказываясь от старых способов производства, сугубо ручных, идущих из глубины веков, Китай прекрасно производит сегодня и автоматическую аппаратуру, и компьютеры, и все прочее, что характеризует высшее развитие техники XX века. Но техника всегда вещь вспомогательная. Как, например, пистолет, который в руках полицейского защищает нас от бандитов, а в руках бандитов убивает нас. Не техника определяет все, а люди, ею пользующиеся. . .

При высоком уровне развития техники, например, в Японии, где существуют народные промыслы вроде нашей хохломы, можно было бы, конечно, заставить машины гнать потоком подобную продукцию, очень умело выдавая ее за народные промыслы. Но это уже совсем не то. Наверное, желание иметь подлинник, авторский экземпляр, не воспроизведенный десятки тысяч раз, и позволяет на Востоке существовать огромному числу кустарей, у которых покупают их изделия, потому что они подлинные, сделанные вручную. Когда шедевр, изваянный великим кудесником, точно повторяют машинным способом в десяти тысячах экземпляров, он просто

потеряет свою уникальность.

Перестав быть художественными произведениями, изделия стали дешевыми. Это в какой-то мере нормально. Раньше чашку, расписанную художником от руки, мог позволить себе купить очень богатый человек, а сейчас такую чашку, произведенную ширпотребовским способом, может приобрести любой и разбить ее без сожаления. В этом есть свои плюсы и минусы: мы теперь производим, но не создаем, или создаем очень редко.

В Китае еще сохранилась культура изготовления национальной одежды, очень своеобразной, требующей творческого подхода при ее сотворении. И хотя национальная и европейская одежда равноценны в повседневной жизни, традиционный китайский наряд, который выкристаллизовывался веками, особый, необыкновенно красочный — конечно, с точки зрения европейца, — привычен и носится народом естественно. Китайцы эту яркость считают вполне уместной, как вполне уместны до сих пор в стране «китайские церемонии».

Кстати, само выражение пришло в русский язык именно из Китая, из китайских манер. У них оно бытует со времен Конфуция, который считал, что церемонии — очень важный обряд для народа, потому что учит вести себя подобающим образом в соответствующей обстановке. Я этих церемоний, к сожалению, не видел, в частности, знаменитой чайной церемонии, но много читал о них, и они мне кажутся несколько скучноватыми: заранее все известно — кто как сядет, что скажет, как прокомментирует висящую на стене картину. Но для китайцев церемонии продолжают оставаться очень важной частью бытия. Может быть, это некая разрядка в современной жизни, отдохновение души. Раньше это было натуральной жизнью, а сейчас носит характер «оттяжки» от сумасшедшего дома, в который превратился весь мир: посидеть, как в старину, с древней чашечкой в руке, из которой пил далекий предок, не просто пить чай, как мы пьем его утром, встав с постели, а получая огромное удовольствие и соблюдая все правила. В китайских церемониях не только чашка и чай, но и кисточка для заваривания чая, все окружающие предметы имеют значение. Все должно быть старинное, — то, к чему прикасались руки предков, известных, а может быть, и знаменитых людей.

Лично для меня это незнакомое и странное ощущение, но очень привлекательное. И то, что на Востоке умеют уйти от суеты жизни, расслабиться, и то, что там хранят древние традиции, меня почему-то радует. В Японии до сих пор, например, существует специальная профессия для женщины, которая угощает вас чаем, — гейша. Многие думают, что гейша — это проститутка. Грубая ошибка! На Востоке тоже есть проститутки, но они называются иначе. У гейши совершенно другие задачи, девочки для этой профессии воспитываются с раннего детства, изучают философию, литературу. Они должны уметь вести разговор, остроумный и занимательный, сделать пребывание в скучной компании веселым и интересным. Гейша — хозяйка, принимающая гостей, она разливает чай, оказывает вам внимание, но ее главная задача — опираясь на свое исключительное образование (а у гейши образование такое, что многим университетским профессорам и не снилось), поддерживать тонкую интеллектуальную беседу об искусстве, литературе, политике.

К сожалению, мне не пришлось бывать в таких местах, в семьях, например, где китайская женщина могла проявить себя в полном блеске. Я видел

китайнок на разных приемах, но там все проходило вполне по-европейски, там ничто не напоминало об их особой женственности — ни семенящей походки, ни языка жестов, свойственных восточной женщине с древности; все — в европейских платьях, туфельках на высоком каблуке — какая уж тут семенящая походка!

Пытаясь как можно глубже вжиться в китайскую жизнь, я ходил обедать не в ресторан, как все, а в столовые, куда забегают китайцы во время обеденного перерыва. Мне показали такие забегаловки, и во время моего пребывания в Китае я ел настоящую китайскую пищу, а не приготовленные для европейцев блюда «à la Китай», рядом со мной сидели китайцы и ели то же самое.

Именно там я понял, почему у китайцев суп подают последним, а не как у нас, первым блюдом. Обычай этот соблюдается даже в маленьких забегаловках, в каких я и кормился: вторых, по-нашему, блюд очень много, десять-пятнадцать, и берут каждого понемножку, буквально по чайной ложке, чтобы попробовать все. Но блюда сильно перченые, и после десяти-пятнадцати проб во рту такой пожар, что его нужно чем-то залить, вот и заливают бульоном, по-нашему, супом. То есть у них все наоборот по сравнению с русской кухней: сначала едят второе, а запивают первым.

Свое отношение у китайцев и к алкоголю, тоже идущее из старых времен. Один знаменитый древнекитайский поэт считал — чтобы создать стихотворение, нужно быть немножко хмельным. Это было принято не только у китайцев, но и у персов. Омар Хайям, например, прямо писал в своих стихах: «... с утра до вечера не расставайся с чашей». На Востоке полагают, что некоторое дополнительное возбуждение полезно для творчества. Наверное, правильно, я лично не знаю. Но это, конечно, не пьянство в том смысле, когда люди напиваются до положения риз и выясняют: ты меня уважаешь или ты меня не уважаешь? Просто небольшая порция вина, которая чуть-чуть возбуждает. Хайям явно перебарщивал, а может быть, прославление хмельного было его поэтической задачей.

По мнению восточных специалистов, поэту необходимо легкое возбуждение, легкое обострение всех сфер человеческой души, но ни в коем случае не пьянство. Если у нас считается шикарным пройтись пьяным по деревне, даже изрядно преувеличивая степень опьянения: вот, мол, я «гуляю»! — то в Китае показаться на улице подвыпившим считается страшным позором. Поэтому если китайцы и пьют, то только дома, тихо и незаметно для посторонних.

Возвращаясь к китайской поэзии, отмечу еще одну ее особенность. У китайцев считается, что поэт выражает суть написанного не только словами, но и их начертанием, потому что иероглифы — это в каком-то смысле рисунки, и передают они столько же, сколько слова. Поэтому когда знаменитый китайский древний поэт, кажется Ду Фу, в легком подпитии написал одно из своих знаменитых стихотворений (его знает каждый образованный китаец, я его, конечно, не знаю), то оно было увековечено в камне, иероглифы повторены точно так, как их начертал автор, со всеми кляксами и особенностями почерка. Вот такая культура, очень зрительная, воспринимаемая не только на слух. У нас поэзия воспринимается только на слух, а там — и на слух, и в зрительно-графической передаче, которая не менее важна. Поэтому у китайцев графика текста столь же значительна, сколь у нас иллюстрация. У нас иллюстрации часто помещают на отдельных вклад-

ках, там это совершенно немыслимо, книга в Китае — своего рода живопись, как же можно отрывать рисунок от текста! Иероглифы могут быть изысканно красивыми, иногда совершенными по исполнению — не зря в Китае существуют разные школы иероглифа. Я далек от того, чтобы это комментировать, но, повторяю, китайцы убеждены, что графическое выражение слова не менее важно, чем его смысл.

Китайцы утверждают, что душа человека существует после его смерти тысячу лет, и в это можно поверить, вчитавшись в их классическую средневековую прозу, всмотревшись в их живопись, ознакомившись с историей Китая. Загадочность Востока, в частности Китая, всегда притягивала и притягивает европейцев. Почему в начале нашего века, да и раньше, издавна, восточные редкости пользовались невероятной модой в Европе, в Англии, всюду? Изделия из лака, нефрита, сандала. . . Шелка, пряности. . . Я думаю, это было традиционно. В древности поездка в дальние страны проходила не так, как сейчас — сел в самолет и полетел на край света, — это всегда было большое путешествие, с риском для жизни. Поэтому все привезенное из немыслимой дали ценилось очень высоко. И пристрастие к восточным редкостям, наверное, след древности, потому что редкости эти заморские, странные, таинственные.

Таинственной была и живопись Востока, где сохранилось особое отношение к пейзажу, своего рода благоговение перед ним. Пейзаж вообще играл большую роль в жизни Китая, Японии, стран Востока. Для того чтобы объяснить это, надо хорошо знать историю искусства пейзажа — и естественного, природного, и пейзажа в живописи, в рисунках. Не рискую, опять-таки, что-либо комментировать здесь, потому что специально никогда не занимался подобными вопросами, но должен сказать: китайское изобразительное искусство, особенно периода начала нашей эры (то есть трехсотый, четырехсотый, пятисотый годы вплоть до тысячного — это очень существенно), его пейзажная живопись поразительны. Я имею в виду не хорошо известные нам свитки — длинные полосы с изображением, а альбомные листы, действительно потрясающие, они нам ближе, потому что в Европе тоже рисуют на отдельных листах. Китайские альбомные пейзажи того времени изумительны, там есть все — и перспектива, и воздушная перспектива, и светотень. Позже в искусстве ничего нового, в принципе, не придумали.

Пейзажная живопись китайцев начала нашей эры настолько невероятно по своему совершенству, что лучше сделать невозможно. Художники разных стран повторяют ее в разных вариантах, но китайцы в то время достигли всего, что сейчас приписывают эпохе Возрождения. В эпоху Возрождения развитие шло независимо от Китая, Леонардо да Винчи не знал китайцев и их живописи, в частности альбомных листов, но пришел к этому же результату. Собственно говоря, все художники мира, независимо друг от друга, приходили к одинаковому результату. Однако у китайцев не было математической теории перспективы, с которой были знакомы европейцы. Вернее, они ею пользовались интуитивно, рисовали далекое — маленьким, близкое — крупным, это же очевидно, не надо быть большими умниками, чтобы понять такие вещи. Они очень хорошо передавали свое зрительное впечатление, причем одновременно умели тонко передать и настроение. У китайцев это умение, по-моему, выше, чем у европейских мастеров, которые в погоне за фабулой или за чем-нибудь еще часто упускают настроение.

В Китае и в Японии умудряются передать все оттенки состояния и на-

строения не только природы, но и человеческой души, причем как в живописи, так и в поэзии:

Все дальше за собою
Страну ту оставляешь, —
и все милей она.
О, как завидно мне волнам тем,
Что вспять идут.

Вот типичное пятистишие, танка, в переводе с японского Николая Иосифовича Конрада, нашего известного востоковеда, академика. Дана картина природы, чувствуется настроение автора, есть философский подтекст, который всегда в подобных пятистишиях и трехстишиях, хокку, слегка выпирает. Потому что поэзия на Востоке — это философия. Хорошая поэзия, я имею в виду, которая вошла в историю.

В детстве у меня было две мечты, очень меня увлекавшие: Древний Египет и Космос. Я выбрал Космос, потому что это было реально, а Древний Египет — нереально. Ну кто бы меня пустил в Египет, в особенности в советское время?

Почему Египет и Космос? Может быть, потому, что и то, и другое недостижимо — раскопки, углубление в забытые пласты Земли и полет человека к звездным мирам? Вспоминая себя в детстве, боюсь, что интерес к Египту у меня возник по случайной причине. Когда мне было лет шесть-семь, кто-то (не помню даже кто, не родственник, а случайный знакомый) то ли забыл у нас книжку, то ли подарил ее мне — элементарную, как я сейчас понимаю, книгу о Древнем Египте, не очень толстую, с большим количеством картинок, естественно, египетских. Она меня заинтересовала, я все время ее рассматривал, потому что тогда еще толком не читал.

Детское удивление египетским искусством, необычностью изображения как бы врезалось в меня, и я стал мечтать о том, что хорошо бы туда поехать, увидеть все своими глазами, покопать там и найти что-нибудь. . . Я думал не о туристических вояжах, а представлял себе настоящие раскопки, проникновение в пирамиду, в гробницу фараона — ну о чем ребенок может мечтать, конечно же не о созерцании, а о том, чтобы что-нибудь найти, раскопать, расковырять, даже украсть! Ребенок всегда в действии, а не в каких-то несбыточных замыслах, но действия мои были совершенно исключены. И я, сохраняя до сих пор нежные чувства к Египту, все-таки не стал заниматься им профессионально. Однако настолько им увлекся, что помню даже сон, виденный мною несколько раз, что уже говорит о многом.

Помню, как я, египтянин, выхожу из дома под яркое утреннее солнышко во внутренний дворик, греюсь под его лучами, все еще спят, солнце только вошло. . . Эта сцена, совершенно живая, стоит у меня перед глазами. Я даже подумал, что она из моей прошлой жизни, в которой я был египтянином — так явственно и четко, так детально мне все запомнилось. В любой момент могу вызвать в себе это стопроцентное ощущение — вот я выхожу из дома, знаю, что вся семья спит на циновках, и думаю: они спят, а солнце уже вошло, начинает пригревать, низкое еще солнце, воздух еще не успел раскалиться, потому что раннее утро, а я стою и люблюсь миром. Больше ничего не помню. Вот такое всепоглощающее переживание, может быть, даже не во сне, а в полусонном состоянии, но навязчивое, неоднократно повторяющееся, значит, достойное внимания.

Когда я хотел быть египтологом, то стремился выкапывать что-то из Земли. Когда меня захватил Космос, я как бы устремился в небесные выси. Казалось бы, полярные стремления, но они полярные только внешне, а по сути одно и то же — желание двинуться в неизвестное. Не важно куда — вверх, вниз, влево, вправо. Не имеет значения, что там — сферы небесные, а здесь — твердь земная. Важно, что и то, и другое неизведанно. А неизведанное всегда интересно.

Логично было бы спросить, почему я не увлекся, скажем, сравнительным языкознанием? Потому что Египет просто понятие, что-то общее, чем может увлекаться шестилетний мальчик; сравнительным языкознанием он увлекаться не может, это довольно глубокое проникновение в уже существующую науку, другой уровень. И я не мог заниматься сравнительным языкознанием, потому что ничего в нем не смыслил, а Египтом мог интересоваться чисто платонически.

Я им и до сих пор интересуюсь, поэтому читаю все, что издается у нас о Древнем Египте. Ничего особенного, правда, сейчас не публикуется, и книги, как правило, повторяются. Литература о Египте, вышедшая в двадцатые годы и сегодня, практически ничем не отличается, разве что по манере изложения, форме и оформлении. А по сути все то же самое. Все популярные книжки я читал. Ну, не все, это слишком сильно сказано, а те, которые до меня доходили и доходят. Я не бегаю специально и не ищу их, но если увижу на прилавке книгу о Египте, тут же ее куплю.

Мое увлечение было довольно сильным. Смешно сейчас прозвучит, что я скажу, но это факт: в последние месяцы Отечественной войны, или, вернее, в первые месяцы мира, когда я жил в Нижнем Тагиле на поселении после лагеря, в Нижнетагильском краеведческом музее устраивалась какая-то выставка, включающая в себя раздел по Египту, и музейные работники пригласили меня как эксперта проверить, не допустили ли они какой-нибудь глупости. Я, конечно, пошел, осмотрел, все было сделано правильно, потому что они работали по книгам, по источникам, но ведь и мое знакомство с Египтом ограничивалось только книгами и статьями. Самое интересное во всей этой истории то, что они обратились ко мне как к специалисту, а я в Египте никогда не был, не повезло. Вообще я много ездил по миру, и мне очень хотелось попасть в Египет, но только не в жаркое время года, я не переношу жару. Понимаю, что сегодняшний Каир — современный город со всеми достоинствами и недостатками, присущими современным городам: те же машины, как и во всем мире, те же развлечения. Но мне хотелось бы посмотреть на пирамиды, поболтать в пустыне, а не в современном городе. Конечно, и пирамиды уже не те, из-за выхлопных газов и прочей дряни в воздухе образовалась ядовитая смесь, которая разрушает, разъедает и пирамиды, и памятники Древнего Рима, еще уцелевшие до наших дней; смешиваясь с влагой, химия губительно действует на камень, на металл.

А человек все выдерживает, настолько он живуч.

Свое образование по Египту я начинал с классических работ Милицы Эдвиновны Матъе, известного искусствоведа, знатока Древнего Египта, сотрудницы Эрмитажа. Эрмитаж в какой-то мере всегда делал уклон в изобразительное искусство, а меня оно в данном случае особенно интересовало. Мне очень нравится манера древнеегипетских художников, скажем точнее, рисовальщиков, изображать предметы. Я даже написал об этом статью в журнал «Геттингенские заметки», посвященный только Древнему Египту.

Мне хотелось показать в этой статье, что вся искусствоведческая литература по Древнему Египту в известной мере ахиenea. Потому что наши современные искусствоведы пытаются объяснить его искусство с точки зрения эпохи Возрождения: тогда, мол, все делали правильно, а вот египтяне рисуют неверно: у них ноги не так развернуты, головы не так повернуты. И объясняют, как надо рисовать, глупцы!

Египетское искусство — вершина, и лучше сделать нельзя. Оно не хуже Возрождения, оно другое. Искусство эпохи Возрождения передает видимую картину мира, мы так привыкли, однако это же не обязательно. А египетское искусство передает истинную картину мира; скажем, предмет круглый, а наши художники рисуют его овальным, потому что смотрят сбоку, а египтянин посмотрел сверху: круглый! (Он и на самом-то деле круглый.) И египтянину безразлично, как видит предмет тот или иной человек, он рисует его таким, каков он в объективном мире. Это очень трудно, у нас так работают только инженеры, когда делают чертежи, и поэтому я назвал древнеегипетское искусство художественным черчением. И тогда всё становится на место. Как показывает современное черчение, лучше, чем сделано в Египте, сделать нельзя. Это вершина, а не этап развития искусства. Возрождение еще одна вершина, но другая. Это разные вещи, их нельзя смешивать, как нельзя смешивать бифштекс и компот.

Древних египтян совершенно не интересовало, как выглядит предмет, потому что он выглядит по-разному: посмотришь на него сверху — он один, посмотришь сбоку — другой, посмотришь спереди — он третий. Ребенок видит мир снизу, взрослый человек сверху. Как для них выглядит стол? По-разному. А вот как его изобразить? А таким, каков он на самом деле, и тогда для всех будет он одинаково понятен — вот точка зрения древних египтян. Они передавали объективное пространство, а эпоха Возрождения передает пространство зрительного восприятия. В объективном пространстве рельсы параллельны, а в зрительном восприятии они сходятся на горизонте. Это нельзя путать.

Некоторые современные искусствоведы совершают величайшую оплошность — и я поражаюсь их некомпетентности в этом вопросе, — рассматривая все искусство с точки зрения эпохи Возрождения. Во времена Возрождения параллели рисовали сходящимися на горизонте, значит, так надо. Значит, все другие художники были или недоумками, или примитивными и не понимали, как надо рисовать, не умели этого делать. Но разве примитивны современные инженеры, когда рисуют рельсы параллельными и строят их параллельными? Египетское искусство вовсе не примитивно или наивно по сравнению с современным, это просто другое искусство, ставящее перед собой задачу передать объективную реальность. Египетское искусство будет передавать реальные формы, которыми на самом деле обладают предметы, а наше — видимые формы. Но, повторяю, видимые формы меняются от того, каким образом человек на них смотрит. Поэтому наша точка зрения довольно сомнительна, у нас все будет по-разному, а у художника-египтянина одинаково, ему важно показать незыблемую сущность вещей.

Такова моя точка зрения. Не хочу сказать, что она лучше или хуже других, она просто иная. И говорить, что древнеегипетское искусство является первой ступенью к Возрождению, несерьезно, оно уже вершина, столь же высокая, как Возрождение. Но соседняя.

Об этом-то я и написал для «Геттенгенских заметок», издающихся в

Мюнхене. Вернее, сделал статью на основе своего выступления перед египтологами в Мюнхене в девяносто пятом году. Собралось тогда, как ни странно, очень много народа — во-первых, в Мюнхене прекрасный музей древнеегипетского искусства, и послушать мой доклад собрались сотрудники музея: профессор из Москвы будет рассказывать о Египте! Во-вторых, пришли искусствоведы, студенты, собралась интеллектуальная элита города. Я выступал около двух часов — сам удивился. Меня, как говорится, понесло, час проговорил, потом еще час, чувствую, надо кончать, уже сам спотыкаюсь, а они сидят, никто не уходит! Более того, все время задают вопросы, так их заинтересовала моя лекция о живописи Древнего Египта, да еще сопровождаемая диапозитивами из их же музея. Так что я не только рассказывал, но и показывал: нарисовано так потому-то и потому-то, то есть проиллюстрировал лекцию. Читал я ее не широкой публике, а специалистам, которые понимали с полуслова и после лекции сказали, что они послушали бы еще, им понравилось, поскольку я говорил вещи им непривычные и необычные.

Так называемую знаковую живопись, то есть рисунки древнеегипетского алфавита, я не включил в лекцию, специалисты знают о ней лучше меня. Кое-что и я об этом знаю, но не берусь толковать, потому что я не египтолог. Много читал о знаковой живописи, много размышлял, но ничего не могу прибавить к уже сказанному. А говорить о вещах, к которым не могу прибавить ничего своего, я не люблю.

Первоначально древнеегипетская живопись и письменность были едины, египтяне работали на камне, высекали на нем свои рисунки, потом писали на папирусе, можно сказать, на бумаге. К тому времени у них уже существовала буквенная система, то есть алфавитное письмо, буквы соединялись в слова. Смысл слов у них имели и некоторые иероглифы: для того чтобы отличить в тексте имена собственные, они обводили их, ставя знак, что это имя собственное. Но все это относилось именно к письменности, а не к живописи, которая расцветала отдельно.

После Петра I, европеизировавшего Россию, у нас все «азиатское» считалось плохим, Восток стал для России азиатчиной в дурном смысле этого слова, чем-то отсталым, косным, темным. Подчеркиваю: я говорю о старинном русском понятии Востока, Азии. На самом деле Азия часто стоит выше Европы, Часто. И я сам люблю Азию, люблю в том смысле, что мне нравится почти все, что там делалось. Умнее делалось, чем у нас. Для нас — своеобразно, для них — нормально. Они своеобразны для нас, мы своеобразны для них. Не совпадаем. И Петр I здесь ни при чем.

Глава 8

К эпохе Петра I и к нему самому я отношусь с величайшим почтением, внушенным мне с детства. Я родился и жил в городе, основанном Петром, где царит особенный его культ, и надо быть урожденным петербуржцем, чтобы это понять. Многие вещи воспринимаются по-разному в Петербурге, в Москве, в каком-нибудь другом городе. Нигде культ Петра I не сохранился так, как в Питере, нигде он не имеет такого громадного значения, такого любовного отношения, проецируясь на сам город, созданный русским царем. «И всплыл Петрополь, как тритон, по пояс в воду погружен. . . » Как надо любить город, чтобы назвать его Петрополем! Есть у Пушкина еще и «Над омраченным Петроградом дышал ноябрь осенним хладом. . . » — Петроград, Петрополь, все вместе, в одной поэме, но с тритоном можно соединить только Петрополь, некое греческое соответствие. У Пушкина очень хорошее ощущение формы, очень хорошее! Его стихи не надо запоминать, они сами просятся в душу, а все, что касается Санкт-Петербурга, Петрограда, Петрополя, Ленинграда, моя слабость, поэтому мне трудно судить о Питере объективно. Только уехав из него, я понял, в каком городе жил.

Если говорить о самом Петре, основателе не только редкостного города, но и редкостного государства, то мое мнение будет мнением рядового гражданина, а не специалиста. Все началось с него, с Петра Романова, в котором не было, собственно говоря, немецкой крови, но который испытывал необъяснимое тяготение к Европе, к немецко-голландскому образу жизни, к реформам.

И, не разбираясь в эпохах как специалист, я все-таки рискну утверждать, что Петр сделал для России главное. Екатерина сделала, может быть, больше него, но у нее и времени было больше. Кроме того, она ничего бы не добилась, не будь до нее Петра.

В стремлении первого российского императора к европейскому укладу жизни присутствует некое противоречие — от искренней любви до кровавой войны. На это надо смотреть исторически: Европу для русских прежде всего олицетворяла Германия, территориально самое близкое к России государство. Петр одновременно и учился у голландцев, у шведов, у немцев, и противостоял им — вспомним хотя бы Северную войну, сражение под Полтавой. Воюя, он учил свои войска военному искусству, создал регулярную армию, именно в те годы заложив ее основы на столетия вперед. Учась, он преобразовывал государство, при нем появились первые мануфактуры, горные заводы, русский флот. Он повелел создать Академию наук, образовал Сенат, коллегии, разделил страну на губернии. . . Сегодня, глядя на

череду наших нынешних правителей, не верится, что все это мог поднять один человек. Правда, он умел и помощников себе подобрать достойных.

Именно во времена Петра I и появилась в Петербурге, в Москве чертова уйма немцев, деловитых и трудолюбивых. Как реформатор, как монарх Петр понимал, что Россию надо слить с Европой, если можно так выразиться, чтобы она стала органической частью Европы — очень здравая мысль. Поэтому и писались, и издавались в Европе до Петра всякие «путешествия» в Россию, после его правления их никто уже не сочинял — какие там путешествия! Россия перестала быть таинственной страной; до петровской эпохи и немцы, и голландцы писали и издавали книги, делились своими впечатлениями о стране невероятных холодов и непонятных людей. Оказалось, что и холода не столь невероятные, и люди вполне понятные. Так что Петр I и Екатерина II очень много сделали для развития нашего государства: Петр как бы «толкнул» Россию к Европе, а Екатерина воплотила его замыслы в жизнь.

Согласен, что Петр, может быть, «толкнул» очень жестко, но ведь в России иначе нельзя, и не потому, что существует мнение о некоей славянской аморфности, просто Европа шла своим путем, там все время люди что-то делали, предпринимали, то есть это был единый организм. А Россия находилась вроде бы и недалеко — большая, азиатская, непонятная страна, — но в то же время и очень далеко: она все-таки оставалась для европейцев Азией. Поэтому приобщить ее к Европе, приблизить, что начал делать Петр и его последователи, было очень нужно. Все это общеизвестно, и я не открываю здесь ничего нового.

Другое дело, что потом снова закрылся «железный занавес», и опять на целые десятилетия Россия стала для Европы и для всего мира таинственной и непонятной, только уже называясь СССР. Сейчас мы снова открытая страна для всех и всего, а потому и никому не интересная. Если иностранцы чему и поражаются, так это масштабам нашего воровства, и денег больших стараются не вкладывать в это гибельное дело. Ну, может быть, краткосрочные вклады еще делают, с гарантированными условиями.

Идет то, что должно идти, и, если начать что-то переделывать силой, ломать, никто не поручится, что ломать будут именно то, что надо, и там, где надо. Ведь наши правители не знают, где и что менять, каждый тянет в свою сторону. Жизнь страшно запутанное и сложное явление, и когда мы думаем, что что-то поменяем вот здесь, все пойдет по-другому, дело всегда кончается тем, что после перемены едут те места, о которых никто и не подозревал. И тогда все хватаются за головы: Боже, Боже мой, давайте сейчас же вернем все обратно!.. Не тут-то было, назад ничего вернуть уже нельзя, таков человеческий закон, закон бытия. Перемены весьма опасная вещь, и поэтому я согласен с Сомерсетом Моэмом, который предпочитал видеть в правительстве людей, отнюдь не сверкающих умом, но не склонных к ломке, и я, никогда не бывший раньше консерватором, теперь им стал. Я не хочу, чтобы что-нибудь менялось. Меня заверяют: к лучшему! Не надо к лучшему. Меня устраивает так, как есть, у меня консервативное отношение к этим переменам. «Будет лучше, будет лучше. . . » Как бы не так! Лучше не будет. И это не возрастное, у меня всегда было такое предчувствие, и жизнь только подтверждала мои прогнозы: ничего не делается к лучшему. . .

Во времена Александра I П. Д. Рунич в своих записках в «Русской старине» отметил: «Русский народ еще не вышел из детства. С ним еще нель-

зя говорить о свободе. Быть может, его толкали слишком насильственно на путь цивилизации». В какой-то мере Рунич прав, Петр I слишком круто повернул руль — я не говорю, что это плохо, — но при такой ломке неизбежно щепки летят во все стороны, издержки как бы естественны. И после Петра в России был кавардак, хотя Екатерина пыталась навести порядок — и навела. Екатерина II все-таки умная была баба! Но осколки и щепки еще долго летели.

Возвращаясь к роли немцев, да и не только немцев, в судьбе Российского государства, скажу, что, на мой взгляд, шел совершенно естественный процесс, обусловленный историческими обстоятельствами, соседством и сильным взаимным тяготением. Было очень мощное движение и в сторону России. Взять хотя бы немецкие школы, их насчитывалось множество, но я не слышал ни о французских, ни об английских. Это показывает, что немецкий элемент органически вплетался в жизнь если не всей России, то во всяком случае Петербурга и Прибалтики. Только после первой мировой войны, после революции, когда у немецких баронов буржуазные правительства Эстонии, Литвы и Латвии отобрали землю, они уехали из Прибалтики в Германию в качестве рядовых граждан. Остались в основном купцы, ремесленники, а вся феодальная верхушка исчезла. Это длинная и очень путаная история, потому что тогда большой процент балтийских немцев (то есть фактически русских, настолько они обрусели, но по национальности считавшихся немцами) участвовал в управлении страной, входил в правительство. Немцы-ученые не так влияли на государственную жизнь, а вот, скажем, министры, премьер-министры имели прямое влияние. И это зачастую были прибалтийские немцы, поскольку немцы-неприбалтийцы, я имею в виду дворян, в России не проживали. Были немцы крестьяне, ремесленники, сапожники, булочники — «... И хлебник, немец аккуратный, в бумажном колпаке, не раз уж отворял свой ва-сисдас». Эти никого не волновали, поскольку не лезли во власть. Как не лезли во власть оставшиеся в русской культуре и науке Орест Адамович Кипренский, он же Орест Адамович Швальбе, живописец и рисовальщик, автор лучшего портрета Пушкина, Карл Павлович Брюллов, прекрасный художник, создатель полотна «Последний день Помпеи» (настоящая его фамилия звучит «Брюлло», но император Николай I приказал его «сделать» русским: а то все немцы да немцы!), Владимир Иванович Даль, великолепным «Толковым словарем живого великорусского языка» которого мы пользуемся и будем пользоваться всегда, Денис Иванович Фонвизин, просветитель и драматург, написавший после поездки по Италии и Германии: «Здесь во всем генерально хуже нашего... и мы больше люди, нежели немцы», Иван Федорович Крузенштерн, мореплаватель и адмирал... Немцы по происхождению, они стали истинно русскими людьми, патриотами России. Но страной они не управляли, во власть не лезли, хотя частенько ей досаждали — Екатерина, например, однажды раздраженно сказала: «Худо мне жить приходится! Уж и господин Фонвизин учит меня царствовать!..» Тем не менее и Екатерина, и Петр, великие люди в нашей истории, уделяли много внимания просвещению. Посылая молодых, талантливых, но часто безродных людей за границу, чтобы создать «витаминный», как мы выразились бы теперь, слой для России, Петр, может быть, бессознательно, понимал, что без этого профессионально грамотного слоя общества, я подчеркиваю — именно профессионально, которое живет своей грамотностью, — серьезное государство

существовать не может. И мне кажется, Петр сделал очень многое, чтобы появилась прослойка людей, названных потом русской интеллигенцией.

Должен сказать, что понятие «интеллигенция» существует только в русском языке, его нельзя перевести на иностранный, потому что там такого понятия нет. Есть выражения «высоколобые», «яйцеголовые», всегда с оттенком некоторой иронии, а интеллигент — это чисто русское понятие, по моему введенное в обиход русской речи писателем Боборыкиным в шестидесятых годах XIX века (на меня это произвело впечатление). И поэтому нужно объяснять подобное явление, исходя именно из истории России, а не из мировой истории. За границей интеллигенция как прослойка не выделяется, не знаю, с чем это связано, но мне это показалось очень забавным.

У нас в России интеллигенция возникла, я бы сказал, из-за неграмотности массы населения. То есть люди, умеющие читать, а не только складывать буквы, свободно обращаться с текстом, представляли собой некое отклонение от нормы. Я так думаю, потому что страна была неграмотная, в отличие, например, от Франции или Германии, где почти все читали и писали. Помню, как в мои школьные годы девочки из нашего класса учили грамоте старушек, которые не умели читать. Ликбез — ликвидация безграмотности — далее в те сравнительно недавние годы был массовым явлением. И, конечно, на этом фоне естественно выделялся всегда, во все времена слой людей грамотных. У нас их называли интеллигенцией, хотя что такое интеллигенция — непонятно. По-латыни *intelligens* означающий», «понимающий», «разумный», и поскольку это слово появилось в русском языке не как прилагательное, а как существительное, следовательно оно отражало что-то реальное. Реальность заключалась в том, что в нашей русской действительности, связанной прежде всего с крепостным правом, когда основная масса людей вообще людьми не считалась, выделение грамотных было естественным и в какой-то мере полезным процессом. Кроме того, появилась возможность объединяться грамотным людям, не в смысле создания каких-то союзов, а в морально-этическом смысле: мы — люди образованные и ведем себя так, а не так. «Интеллигенция» — это совершенно русское явление, не мировое, хотя, конечно, и за границей имелись люди грамотные и неграмотные, ученые и неученые, но они особо не выделялись, так как процент грамотности там был несравнимо выше. Выделение просвещенных из непросвещенных типично для России, но нетипично для Запада.

В России к интеллигенции всегда относились подозрительно, особенно власти, как к людям «умничающим», которые за границу ездят, что-то непонятное провозглашают, что-то зловерное привозят домой. И вечно они что-нибудь да выдумают! Вот так. Недаром у Грибоедова Фамусов говорит: «Забрать бы книги все да сжечь!», и говорит это Скалозубу, представителю государственности, военному, полковнику, который абсолютно с ним согласен. Это классика отношений. Таково настроение начальства. И у нас интеллигенция, то есть грамотная часть населения, сделавшая своей профессией размышления, знания, сочинения статей, книг и просто устную пропаганду, если это слово можно применить к тем временам, всегда, в силу своего положения, несколько оппозиционно относилась к властям. Поскольку власти и порядки в России тогда, да и сейчас, были не лучшие, никто нам не подражал, наоборот, мы брали пример с Европы, и поэтому думающие люди постоянно находили повод порицать что-то свое. Вы только подумайте — никто не ездил в Россию, чтобы перенимать русские порядки и насаждать

их у себя — ни немцы, ни французы, ни англичане. Мы всегда ездили в Европу учиться. В какой-то мере это связано с нашим положением между Азией и Европой, особым положением. Но, конечно, дело не только в этом.

У нас во все времена имели место гонения на интеллигенцию, правда с поправкой — не на интеллигенцию вообще, а на часть ее. Потому что думающая часть общества не всякий раз говорила то, что угодно начальству, и разного рода бунтари, как правило, шли из рядов интеллигенции. Я не имею в виду булавинское или пугачевское восстания, там другие корни; свойством интеллигенции было не такое яркое сопротивление властям, но всегда несогласие с ними, что и вызывало подозрительность с их стороны. Ведь в России и раньше, и сейчас существовала диктатура, как правило, диктатура личности, реже — какой-то группы людей. Мы привыкли генетически, что у нас есть царь, раньше его называли «хозяин земли русской», и я не удивлюсь, если в своих кругах так сейчас называют Ельцина. Интеллигенция, которая видит, что происходит в стране, с этим не согласна, поэтому она всегда была и будет под подозрением. По-другому с оппозицией нельзя.

Я об этом знаю не со стороны. В начале тридцатых годов, после убийства Кирова, были организованы массовые репрессии, особенно в Ленинграде. Само собой, сажали в тюрьму, кого-то, может быть, и за дело, не хочу в этом сейчас разбираться, но, помимо всего прочего, решили очистить Ленинград, Москву, Харьков от потенциальных врагов, от социальными чуждых элементов, как тогда выражались. Потенциальными врагами считались крупные дворяне, бывшие капиталисты и промышленники, священнослужители, кроме тех, которые несли реальную службу в храмах, и так далее, можно составить целый список. Интересно, что священников, служивших в церкви, не трогали, поскольку формально у нас провозглашалась свобода вероисповедания, но бывшие священники рассматривались как потенциальные враги. Такие вот «тонкости». И начались массовые высылки, о которых много что может рассказать старшее поколение.

В те годы я учился в институте, жил бедно, и один из знакомых моего друга, член обкома партии, ведающий этими высылками, предложил поработать у них в комиссии за бесплатную еду в Смольном. . . А для меня это было вопросом выживания. Признаюсь сегодня, спустя столько лет после описываемых событий, что таких шикарных борщей, как тогда в Смольном, я больше в жизни не ел! Заведующая тамошней столовой и одна из членов нашей комиссии были приятельницами, поэтому нас кормили так, что до сих пор помню. Еда, да еще бесплатный проезд по городу — и все это нищему студенту! — и привлекли меня тогда к этой работе.

Люди, которых высылали, вели себя по-разному: многие уезжали безропотно, а многие считали, что с ними поступают несправедливо, и подавали соответствующие заявления, писали, как правило, в Москву, в правительство. Чтобы не гонять сотрудников и тех, кто писал, из Ленинграда в Москву и обратно, в Питере организовали отделение московской комиссии, в котором я и служил техническим работником: регистрировал приходящих, записывал имя, отчество, фамилию и направлял к определенному столу, где разбиралось дело. Волей-неволей я за всем этим наблюдал и должен сказать, что высылки, с сегодняшней точки зрения, были полным безобразием. Абсолютно ни в чем не виновных людей ни за что высылали из родного города.

Регистрируя проходящих, я по необходимости с ними разговаривал, вникал в их судьбы, и у меня сложилось впечатление, что все это — бессмысленная жестокость. Иногда, по мере своих сил, я даже пытался им помочь, иной раз удавалось, потому что я знал: рассматривают дела три «тройки», и среди них есть «либеральная». Когда я видел, что человеку чем-то можно помочь, то посылал его к либеральной «тройке».

Грустные воспоминания. Кажется, наше правительство, Сталин не могли допустить, чтобы народ хоть короткое время находился не в напряжении. Тридцать седьмой, аресты, никто не гарантирован, что его не посадят. Сорок первый — война, сажают меня, на фронте плохо, мы отступаем, СМЕРШ, расстрелы без суда и следствия. Кончилась война, возникло дело врачей-вредителей, началась борьба с космополитами. . . И Ленин, и Сталин все время что-то меняли и ломали. Сталин отнюдь не был глупцом, не зря Уинстон Черчилль, выступая в палате общин, сказал о нем: «Сталин был величайшим, не имеющим себе равных в мире диктатором, который принял Россию с сохой и оставил ее оснащенной атомным оружием. Нет! Что бы ни говорили о нем, таких история и народы не забывают. . . » Мы его и не забываем, туго нам пришлось при нем. Ленин был умнее Сталина, и он, наверное, наломал бы меньше дров, чем Сталин, но это если бы. . . «Если бы» — не способ оценки истории. Нельзя говорить: если бы не тот царь, а другой. История не рассматривает ситуации с позиции «если бы». Сослагательное наклонение в ней неуместно.

С моей точки зрения, Ленин был революционером, который, придя к власти, конечно, жаждал, жаждал, прижимал, но такого бессмысленного избития, какое устроил Сталин в тридцать седьмом году, не устроил бы никогда. Это мое личное мнение. Может быть, я ошибаюсь. Ленин все-таки был жестоким человеком, что вызывалось политической обстановкой и его местом в структуре власти; сейчас все мы получили доступ к документам, свидетельствующим о его весьма крутых решениях. Но он не мог быть, по моему, таким извергом, как Сталин; у Джугашвили, пришедшего к власти и даже еще не пришедшего, вылезла какая-то специфическая национальная черта, осложненная не совсем нормальной психикой. Я не специалист по этим делам, но его восточная, кавказская жестокость, жестокость особого рода, вряд ли была свойственна Ленину. Недаром Мандельштам писал: «Мы живем, под собою не чуя страны. . . », и дальше помню:

Он играет услугами полулюдей.
 Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,
 Он один лишь бабачит и тычет.
 Как подкову, дарит за указом указ —
 Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.
 Что ни казнь у него — то малина
 И широкая грудь осетина.

Это и есть сочетание национальной жестокости и психической сдвинутости. Куда было деваться человеку, который учился в семинарии и которому некуда было идти, некуда податься, кроме как в революцию? Вряд ли его всерьез занимала мысль, есть Бог или нет. Вряд ли он хотел стать священником, но семинария тогда была для него единственным способом получить образование, поскольку он не мог пойти учиться в университет.

И смотрите, как интересно получается: у одного не было иного пути, кроме как в революцию, потому что его брат — царевбийца, казненный государственный преступник, хотя сам Ленин мог стать талантливым адвокатом; у другого не было иного пути, как поступить в семинарию, писать какие-то квелые стишки, потом пойти в революцию с «черного хода», начинать с грабежей, которыми были знамениты эсеры, большевики меньше. Вырисовывается очень любопытная картина с оттенком криминальности, как сейчас бы выразились. Но оценка поведения зависит от того, чем все кончилось. То есть одно и то же действие может оцениваться и как положительное, и как отрицательное — объективного понятия нет. Не помню, кто из англичан написал по этому поводу:

«Мятеж не может кончиться удачей.
В противном случае его зовут иначе!»

Вот это и надо иметь и виду, когда мы занимаемся политикой.

Парадокс вот в чем — один из наших вождей был сатрап, другой — расстрельщик, помешанный на заговорах, остальные — просто жестокие люди, но страна-то раздиралась: ужасы, аресты, доносы, все это так, и одновременно события мирового масштаба: величайшие достижения в области науки, техники, перелет через Северный полюс. Какое сложное время — и плюсы, и минусы; и плюсы очень яркие, и минусы очень яркие. Сейчас наши головопаты по пропаганде видят и хотят описывать только негативное, не замечая ничего позитивного. Дураки они или подлецы, не знаю, пусть сами выбирают, что им больше подходит. Не бывает только минусов. Мы жили в сложное время, в котором переплелось много хорошего и много плохого, как, собственно говоря, во всяком времени. Сейчас не лучше — тоже есть очень много хорошего и очень много плохого: современная продажность, например, когда все можно купить, просто ужасает. Тогда этого не было. Придут новые идеологи лет через тридцать и будут топтать наше время, как мы топчем время пятидесятилетней давности. Да, был белый террор и в ответ на него последовал красный террор. Начали-то белые, в одном приказе бросившие призыв: «Пленных не брать!» Красные считали, что у них замечательные лозунги, народ пойдет за ними, им жестокость не нужна, однако красным пришлось отвечать на белый террор, что было неизбежно, поэтому не надо сейчас восклицать: «Ах, какой ужас, Дзержинский такое делал!» Да, делал, делал во имя сохранения власти, как во имя сохранения власти обстреливали недавно наших депутатов. Дзержинский лишь отвечал на белый террор, оставаясь бессребреником, он организовывал детские дома, покончил с беспризорностью, детской преступностью, восстанавливал в стране железные дороги. Снесли хороший памятник ему — с моей точки зрения, поступок мелкий.

Мы живем в очень жестокую эпоху, но если начать сравнивать эпохи, то оказывается, что да, наша эпоха по-своему жестока, но по-своему жестока и предыдущая эпоха, и предыдущий век, и век восемнадцатый, и семнадцатый. По мере того как жестокость проявляется, она становится все изощреннее. Неверно, что советская эпоха — самая жестокая, особо жестокая, надо все всегда рассматривать в сравнении. В любую эпоху бывали загибы и перегибы, вспомним, например, времена инквизиции, террор Французской революции, казни английского короля Карла I, наш тридцать седьмой год, фашизм в Германии и Италии, Пиночета в Чили, ОАС во Франции в

шестидесятые годы. . . Пусть психологи объясняют причины всего происшедшего. Когда сейчас пишут о перегибах советской власти, то пишут все правильно, но ведь тогда надо писать и о том, как это было остановлено, однако не пишут, не вспоминают, и я удивляюсь подобной забывчивости. Много читаю, смотрю телевизионные передачи, но ни разу никто не упомянул о докладе Жданова, я имею в виду не доклад о журналах «Звезда» и «Ленинград», который уже у всех навяз в зубах, а доклад о прекращении террора, сделанный им в тридцать восьмом году. Это важнее, чем постановление о литературных журналах, но это сейчас замалчивается.

В тридцать седьмом, когда начался массовый террор, когда людей хватили без суда и следствия, в стране возник психоз: кое-кто — 5% или 10% всего населения, не хочу считать, — одержимо стал искать врагов и писать доносы на окружающих. И началось сумасшествие взаимного истребления. Тогда-то Жданов, конечно с разрешения Сталина, а может быть, и по его приказу, выступил на очередном пленуме ЦК, разгромил всех тех, кто пишет доносы, буквально смешал их с грязью. И все мгновенно прекратилось, доносами заниматься стало уже невозможно, потому что в райкомах доносчика пригвождали к позорному столбу вопросом: «А что сказал товарищ Жданов?» Была дана директива, причем не тайная, а во всеуслышание, и вся страна узнала, что нельзя преследовать людей, пора положить конец доносам.

Жданова сейчас тоже поливают грязью вес, кому не лень, но ведь ясно, что и доклад о журналах «Звезда» и «Ленинград» он готовил по указанию Сталина, как и о прекращении террора в стране. Все равно, конечно, людей сажали, но сажали «правильно», как, например, меня, или если человек что-нибудь ляпнул, рассказал анекдот, тогда он гремел по статье пятьдесят восемь-десять — антисоветская агитация.

Почему бы, спрашивается, не дать сегодня объективной картины происходивших в то время событий, а не твердить с одной, надоевшей уже интонацией, что все, сплошь все, было плохо, ужасно, трагично? Ведь в средствах массовой информации задействованы люди, считающие себя интеллигенцией не в первом поколении, они должны тоньше оценивать события, причины и следствия политических перемен, а не скакать по поверхности явлений, не углубляясь в их сущность. Судя по всему, у нас изменилось понятие «интеллигенция», у нас стали называть интеллигенцией лиц, просто получивших высшее образование, последней операции, когда все упиралось в них), потому что ради этого почти всегда приходится делать не то, что хочется, и деньги дают за то, что лично мне претит.

Если пройтись по всем годам моей жизни, то вырисовывается довольно неприглядная картина: двадцатые — карточная система, потом два-три года нэпа, когда все вроде бы стало налаживаться, первая пятилетка — карточная система, вторая пятилетка — карточная система, в тридцать пятом — тридцать шестом годах стали жить получше, отменили карточки, в тридцать седьмом — аресты, в сорок первом война и до сорок восьмого снова карточная система. Восстановительный период — затянули пояса! Потом распределение продуктов, пайки, заказы, распродажи, то есть та же система карточек. Исчезновение продуктов, исчезновение промтоваров, обмен денег, который в России не прекращается с революции и по сей день. . . Я никогда не жил в достатке, как это ни печально, я всю жизнь чувствовал свою бедность, ощущал ее укусы. И смешно сравнивать мое материальное

положение с положением академика, профессора на Западе. Когда меня спрашивали за границей, сколько я получаю, всегда приходилось прибегать к неким хитростям: да, я получаю чудовищно мало по сравнению с моими коллегами на Западе, но зато у нас бесплатное образование, бесплатное медицинское обслуживание, бесплатное то, бесплатное сё... Теперь даже этого сказать нельзя — у нас ничего бесплатного нет, и по сравнению, скажем, с профессором в Германии я живу очень скудно. Но никакой моей вины в этом нет, я отдавал и отдаю своему государству, своему Отечеству все, на что способен. А мое государство и мое Отечество нынче не считает себя обязанным обеспечивать население, нацию даже самым необходимым. Мы привыкли жить плохо. Нам кажется: плохо, но нормально. Поэтому попадая за границу, многие поражаются и поражаются: все можно купить, все есть, все доступно практически всем. Раньше поражались шестнадцати сортам колбасы на прилавке, сейчас поражаются способности западных государств содержать свои народы в достойных условиях, не позорясь перед всем миром количеством бедняков, нищих, неимущих, тем, чем славимся мы.

Ничего удивительного в происходящем я не вижу, потому что народ ограблен в прямом смысле этого слова; то, что у нас сейчас повальное воровство, факт, от которого никуда не денешься. Воруют все — от самого крупного бизнесмена и чиновника до самого жалкого подметалы, и воровство настолько стало образом жизни, что я не знаю, как мы из этого выберемся.

Один немецкий предприниматель, с которым я беседовал, сказал: «У вас хуже, чем в Латинской Америке, все воруются, все продается, любого чиновника можно купить. Единственно, что его покупают в два раза дороже, чем в Латинской Америке, но все продажно, ничего другого у вас нет». Это говорил рядовой немец, рядовой бизнесмен — ему известно, какие надо давать взятки милиции по дороге от Берлина до Москвы — пятьсот марок, и фирмы официально выдают эти пятьсот марок своим водителям!

Когда-нибудь историки, психологи и экономисты разберутся, почему все это произошло в России. Но сегодня мне закрадывается в голову крамольная мысль: может быть, это просто свойство страны — умение жить плохо?..

Глава 9

В мае девяносто седьмого года меня выписали из больницы в весьма разрушенном состоянии. Сказалось все сразу — две подряд полостные операции, два продолжительных наркоза, мышечная атрофия. Я, незадолго до операции свободно передвигающийся по всему миру, ездящий в любые командировки, занимающийся спортом, незаурядный лыжник и ходок — как правило, старался преодолевать любые расстояния на «своих двоих», а не на ведомственной машине, — почувствовал свой возраст. Меня охватила апатия — не мог ни двигаться, ни работать, очень резко похудел, сидел, уставившись в одну точку, опустив голову на руки. И все.

Нормальный вес постепенно восстановился, жена откармливала меня, как Ламме Гудзак гуся в «Тиле Уленшпигеле» — пальцем запихивая ему орехи в глотку. Но что касается вкуса к жизни. . .

За меня принялись современные «знахари» — не могла же семья смотреть, как я медленно схожу на нет. И вот меня окружили целой серией пробирок с заговоренными снадобьями, одна — для ног, другая — для рук, третья — для головы. В зависимости от того, какая у больного хвороба, в какую-то из пробирок суют электрод, утверждая, что это увеличивает информацию. А потом снадобья принимают по каплям. Так что если я не умер во время операций, то уж теперь наверняка мог сказать, от чего придет мой конец. Однако, как известно, болящий поверит во все, только бы ему полегчало. Уж не знаю, знахари мне помогли или сказала моя природная закваска, но я все-таки стал медленно оживать, хотя ходил, одной рукой держась за жену, другой — опираясь на палочку.

Следующий этап излечения — иглоукальвание. Появился симпатичный иглоукальватель, который занялся моим исцелением, а заодно взял поносить мой парик, на время, конечно. Парик прислали из Парижа по моей просьбе, мы отдали его театральному парикмахеру, и он подстриг его в соответствии с моим обликом. Парик оказался замечательный, кудрявый, седой, и я в нем бесподобно красив. А попросил я его прислать потому, что зимой в нашей церкви — а самый близкий от нас храм Троицкий, от Оптиной пустыни, — мне трудно стоять службу с открытой плешью. Шляпу надеть, как известно, нельзя, а париком я могу защитить свою лысину законно. Парик так меняет внешность, что когда я пришел однажды в нем навестить в больнице Веру Михайловну — она лежала с инфарктом, — подошел к ее постели, окликнул, то она уставилась на меня с неподдельным ужасом, совершенно не узнала! Эту историю мы рассказали иглоукальвателю, такому же лысому, как я, и он попросил: «Одолжите на один день,

Борис Викторович, хочу прийти в нем на работу, интересно, узнают меня мои сотрудники или нет?» Так я до сих пор и пребываю без парика, и не могу пойти в церковь в морозы.

Иглоукальвание, если его делает настоящий специалист, может принести пользу, и я думаю, что оно в какой-то мере тоже способствовало восстановлению моего здоровья: я повеселел, стал, как выражается моя жена, нести всякую чепуху, напевать разные мотивы, например, песенку середины прошлого века, предел, так сказать, тогдашнего остроумия: «Сочинитель сочинял, а в углу сундук стоял, сочинитель не видал, спотыкнулся и упал, и штаны себе порвал. . . » Это был признак некоего душевного подъема. Все мои песенки и словечки, которые я иной раз бормочу, как заведенный, — например, «я хочу, чтоб к штыку приравняли перо» и прочее в том же духе, — совершенно машинально, но это свидетельствует о хорошем расположении духа, — домашние воспринимали терпеливо и снисходительно, потому что, собственно говоря, кроме них мне не на ком упражнять свое «остроумие». Друзей у меня мало, да и тех почти уже не осталось, умерли. Надо сказать, я в душе очень большой нелюдим, хотя внешне вполне контактный человек. Мне мало кто нужен, а ведь с друзьями надо постоянно общаться, и в молодости мы воевали с супругой — она-то человек очень общительный, — постоянно возникали разногласия, когда нас куда-то приглашали в гости! Только она меня с трудом уговорит, как я тут же ставлю ей условие: «Уйдем в девять часов». — «Ну что такое, в девять, это же детское время!» А я не могу оставаться дольше. Во-первых, мне скучно, во-вторых, я привык ложиться спать не позже одиннадцати. И вот представляете, сидим мы у кого-нибудь из знакомых вечером, и часам к девяти глаза у меня делаются совершенно красными, как у кролика. Не оттого, что ярость во мне бушует, а оттого, что я изо всех сил стараюсь не заснуть. В конце концов приходится уходить, когда веселье в полном разгаре. Мне просто необходимо спать мои восемь часов «с хвостиком» — девять для меня уже много. Есть люди, которым вполне хватает пяти-шести часов сна. У меня на этот счет возникла даже некая теория: такое малое количество сна объясняется тем, что у них диаметр сосудов головного мозга чуть больше, чем у тех, кому в среднем необходимо восемь часов сна в сутки, и поэтому кровь быстрее вымывает все шлаки. Такой счастливец поспит часов пять и встает бодрым, поскольку у него крови в мозг поступает в два раза больше, чем у меня. Если у него очищается все быстрее, зачем ему спать больше-то? Я же медленно освобождаюсь от шлаков, и когда не высыпаюсь, то на следующий день не работаю, просто не могу работать. Я имею в виду, конечно, стоящую работу — читать или письмо написать я, конечно, смогу, но по-настоящему работать не получается. Такова моя теория, не знаю, какие научные мнения существуют по этому поводу. Поэтому в гости мы ходим редко, а близких друзей у меня на сегодняшний день не много, нет Игоря Костенко, Володи Штоколова, Марка Галлая, Пауля Риккерта — товарищей детства, молодости, зрелых лет, тех, кто были рядом всю мою жизнь. Сейчас ко мне очень многие относятся хорошо, но близких друзей мне уже не завести, возраст не тот. И это не потому, что я берегу себя, а просто нет потребности, мне интересно с самим собой, интереснее, чем с другими. Наверное, мне бы еще встретились любопытные люди, но ведь они, как правило, друг с другом общаются потому, что одному скучно, я же никогда в жизни не скучаю. А посторонним кажется, что во мне есть некая занудность.

Сохранились у меня очень немногочисленные родственники. Двоюродные братья по линии матери, дети моего дяди, жили сначала в Эстонии, а потом в Германии. К сожалению, в последние годы все они умерли. Когда мое имя стало мелькать в прессе после рассекречивания, нашлись очень дальние родственники и со стороны отца, присылали мне письма, обнаружился и сводный брат Феликс, который живет в районе Херсона, вся его близкая родня уехала в Германию, а он по-прежнему крестьянствует на Украине и довольно активно переписывается с моей сестрой, Карин Викторовной Миклухо-Маклай.

Скажу несколько слов о тех, с кем меня связывала очень крепкая дружба. О Пауле я уже многое рассказал, когда описывал нашу жизнь в лагере, с Марком Галлаем мы были знакомы со студенческих времен. Потом он и я переехали в Москву, он стал летчиком-испытателем, я занимался космосом, мы не вели совместных работ, просто дружили, ходили друг к другу в гости, это была чисто семейственная дружба, не производственная. Нас связывало прошлое и настоящее. Он интересный человек, хорошие книги пишет. Никак не могу написать: «был», «писал»... В молодости Марк блистал остроумием, весельем, иной раз мы с ним с упоением трепались обо всем на свете.

В течение всей моей жизни меня, в основном, сопровождали старые ленинградские студенческие приятели. Разошлись мы только с Савкой Щедровицким: когда меня посадили, он всячески пытался от меня отгородиться, потому что я был его самым близким старинным другом. Даже когда в каких-то организациях встал вопрос, что хорошо бы выволочь Раушенбаху из лагеря, Савка заявил: «Вообще-то говоря, не забывайте, что Раушенбах немец». Присутствовавший при этом Галлай страшно обозлился, достал свой партбилет и сказал: «Я за него ручаюсь!» История эта получила огласку, и мы стали держаться от Савки подальше. Совсем порвать я с ним не смог, слишком многое нас связывало, но когда встречались, он чувствовал себя виноватым, не в своей тарелке, мне тоже было неудобно. Как-то мы попытались устроить встречу ленинградских друзей в ресторане — кроме меня и Савки пришли Игорь Костенко и Марк Галлай, нам хотелось отпраздновать свою ленинградскую сущность, общность, однако ничего из этого не получилось. Посидели, поговорили, но душу не согрели. Видимо, сказались то, что в свое время Савка повел себя не слишком хорошо, и все об этом знали. Пусть небольшое, но предательство.

Теперь их никого нет в живых, земля им пухом. Из многих друзей осталось две-три семьи, с которыми мы поддерживаем теплые отношения: приятельница Веры Михайловны еще с университетских времен и одна славная супружеская пара: она — доктор исторических наук, он — доктор психологии. Познакомились лет десять назад в Переделкине и встречаемся главным образом благодаря их активности и звонкам: «Мы соскучились...» В основном моя жизнь сейчас ограничивается семейным кругом. Рядом со мной самый верный друг — жена, рядом со мной дочери, их семьи, внуки. Рядом со мной соплеменники, которые хлопотали за меня во время болезни. Когда-то я возглавлял Международный союз российских немцев — они-то, мои старые коллеги, и добились того, что немецкий Красный Крест на свои деньги пригласил меня на лечение в Германию, в Ганновер. И поскольку я не мог ехать один, в приглашении было добавлено: «... и сопровождающая персона». В качестве сопровождающей персоны я назвал дочь Веру, пото-

му что Оксана и внучка Кнопка уже подолгу жили в Германии и знали ее, Вера же не бывала никогда, а я считал, что все мои дети должны побывать на родине предков. Вера может свободно объясняться на улице или в магазине, может спросить дорогу или купить что-нибудь на рынке, но вести беседу, запросто болтать, сидя в чьей-то гостиной, ей не под силу — язык она знает ограниченно.

Поскольку приглашала меня немецкая сторона, летели мы не самолетом «Аэрофлота», а «Люфтганза», что имело свои преимущества — больше порядка и комфортабельнее. Пересадку на Ганновер делали во Франкфурте, международном центре воздушных сообщений, где меня должны были встречать, однако встречали как-то бестолково, не держали никакой палки с плакатиком, как это принято, когда приезжающего не знают в лицо, и я «потерялся». Несколько раз проходил мимо нужной группы людей, но не увидел никакого опознавательного знака и решил, что у встречающих что-то не в порядке с головой.

Положение создалось пиковое: нас никто не встретил, Вера стоит с чемоданами, я — рядом с ней в качестве дополнительного «чемодана», куда идти, не знаем. Наконец по громкой связи объявляют: «Профессор такой-то здесь?» Здесь, но ему не говорят, куда идти! Хромая, я добрался до дежурного администратора, тот тоже ничего не понимает, разводит руками. Короче говоря, когда нас нашли, мы уже опоздали на свой рейс на Ганновер, и нас отправили следующим самолетом. В Ганновере я позвонил по телефону в санаторий, мне сказали взять такси, ехать по такому-то адресу — это довольно далеко от города, километров тридцать, — а таксисту передать, что, когда мы приедем в санаторий, он должен подойти к директору, там ему оплатят расходы. Надо сказать, что такой конец на такси в Германии дорожное удовольствие, стоит марок восемьдесят, но поскольку там обманывать не принято, шофер беспрекословно посадил нас в машину, привез и пошел к директору за деньгами. Меня поселили в хороший однокомнатный номер, Веру тоже в отдельную комнату, в соседнем здании. Так мы и открыли сезон.

Пройдя все необходимые формальности, я погрузился в процедуры: день лечебная гимнастика, день плавание, массаж, электролечение и прочее. Никаких отрицательных впечатлений, просто скучно. Я беседовал с такими же, как я, пациентами, на темы актуальные и неактуальные, мы обменивались ощущениями, однако результата особого не было, я не чувствовал глобального изменения в моем состоянии, но почувствовал разницу во многих второстепенных вещах, пусть не существенную, но положительную. Возможно, там следовало провести не один, а три месяца, поскольку процессы восстановления идут очень медленно и требуют времени. Но я даже не заикался о продлении лечения, потому что Верочке пора было возвращаться в Москву, а остаться без нее я боялся — мне одному не выдержать обратного перелета, пересадки, да еще с двумя чемоданами.

Всего за несколько дней до отъезда мы обнаружили поблизости от санатория пивную, куда и стали захаживать, жалея, что набрали на нее не с самого начала. Пивная на немецкий лад — это место, куда люди приходят не напиться, а отдохнуть и получить удовольствие. Мы садились не в помещении, а в садике, Вера приносила кружки со светлым пивом, которое она очень любит, и мы не торопясь его посасывали. Вера настоящая ценительница этого напитка, а я, хоть и люблю пиво, но не могу понять, хорошее

оно или плохое. Дочка как знаток объясняла мне разницу, утверждая, что мы поглощаем прекрасное пиво. Она меня учила пить пиво, а я ее учил немецкому языку.

Конечно, захоти я продолжить лечение, врачи бы не возражали, им все равно, лишь бы за меня платили, а немецкий Красный Крест, я думаю, раскошелится бы по моей просьбе. Но время поджимало, и мы собрались в обратный путь. Выписывая меня, лечащий врач сочинил целое послание, озаглавленное «Русскому врачу», где были изложены заключение и рекомендации немецких врачей. В медицинских терминах я не разбираюсь, но для левой ступни мне сделали там специальный фиксатор, и теперь я могу ходить довольно-таки полноценно.

Сравнивая медицинское обслуживание в Германии и в России, скажу, что профессиональный уровень там выше, чувствуются специалисты более высокого класса, хотя это не значит, что у нас нет отдельных высококлассных специалистов. Но средний уровень наших врачей не такой высокий, как в Германии. У нас бывают доктора хорошие и плохие, а там плохих нет вообще. Как выразился один мой знакомый, наши медицинские вершины выше немецких, а средний уровень гораздо ниже. А ведь именно врачи среднего уровня и лечат основную массу населения, они-то и есть гарантия здоровья нации. У нас же эта гарантия низкая. Средний уровень — это бедный врач, который вынужден обслуживать гораздо больше больных, чем может, бегаёт по вызовам высунув язык, ему не до того, чтобы тщательно осмотреть больного, побеседовать с ним, выслушать, посоветовать. Он наскоро пишет какие-то бумажки, не важно, понял он или не понял, что с пациентом, и быстренько бежит дальше, к другому больному. В Германии лечат не так, не торопятся, основательно думают, подходят к диагнозу уравновешенно, более квалифицированно.

В сообщество врачей там принимают очень строго: надо выдержать многолетний испытательный срок — не знаю, как он у них называется, — чтобы иметь право лечить людей. Проверка очень долгая и жесткая; люди, недостойные звания врача, беспощадно отсеиваются. Поэтому недостойные, наверное, и не пытаются вступить, зная, что все равно не пройдут. Организован отбор безупречно, потому что речь идет о здоровье нации и, в конечном счете, о будущем страны. Кроме того, врач — очень престижная в Германии профессия, поэтому сообщество и не пускает к себе шарлатанов, которые могут опозорить всех остальных. Ведь больной, попавший к такому шарлатану, неучу, недоумку, начнет рассказывать: вот какой мне попался лекарь! И позор ложится на всех входящих в сообщество врачей. Поэтому в Германии не так-то просто получить право лечить людей, благодаря сложной и хорошо продуманной системе отсекаются все, кто может навредить человеческому здоровью.

Я, жертва отечественной медицины, пройдя различные этапы лечения, в том числе и с ней не связанные, обрел работоспособность, продолжаю жить, строю планы, и довольно интересные, но иногда все-таки чувствую некоторую истому. Ничего удивительного: походил по тому свету и вернулся на этот. Ведь вторую операцию по поводу перитонита мне делали абсолютно формально, будучи на сто процентов убеждены, что я не жилец, поэтому вряд ли контролировали, сколько в меня вкачали наркоза и могу ли я его выдержать. Знаю только, что после одного из консилиумов, уже в ЦКБ, помощник или сотрудник Шумакова сказал моим дочерям: «Ну и напороли,

по-черному!» Дословно: по-черному!.. Так профессионал отозвался о работе коллег, как бы тоже профессионалов.

Когда меня перевели из реанимации в палату, то, к моему великому счастью, я попал под наблюдение главного нефролога больницы Владимира Владимировича Сура, немца по национальности. И все было бы отлично, но, спустя некоторое время, он стал поговаривать, что пора мне выписываться, хотя я был еще явно «невывисной». Сура признался по секрету моей жене, что его поедом едят: опять ты своего сюда положил! Вот так. Опять, мол, немца положил, хотя какие мы с ним немцы? Сосчитайте, сколько лет прошло со времен Екатерины II, пригласившей наших далеких предков заселить пустующие земли Поволжья? С тех пор мы не только обрусели, но, может быть, стали более русскими по своей сути, по отношению к нашей земле, чем коренные русаки.

Как известно, немцы у нас долго подвергались дискриминации, в результате чего терялись язык, культура, традиции, способности народа. Я много и активно ратовал за немецкую автономию, но мой голос не был услышан. Недавно М. С. Горбачев сказал мне, что, если бы он остался в девяносто первом году на президентском посту, мы бы эту автономию осуществили. Десять лет назад ее образование еще могло бы помешать массовому оттоку немцев из России, а сейчас подобная автономия потеряла смысл: наиболее деятельная часть двухмиллионной немецкой общности уехала в Германию. По подсчетам экономистов Германии прирост валового национального продукта от притока этой рабочей силы составит к двухтысячному году 84 миллиарда марок! Ну а мы потеряли эти миллиарды, зато избавились от необходимости решать острейшую проблему немецкой автономии: нет человека — нет проблемы. Но за исходом евреев, немцев, других «нацменов» — великий исход умов, талантов, личностей. И пусть теперь кто-нибудь скажет: нет людей, нет и проблем! Интуиция опять крепко нас подвела. . .

Идет время, проходят столетия, а национальный вопрос у нас в России все еще стоит ребром. Поройтесь-ка в своей родословной, много ли там «чистой», не разбавленной другими вливаниями крови? Кто только не проходил по нашим землям, кто только на них не оседал, каких только смешанных браков не заключалось и не заключается, однако всегда найдутся люди, желающие соблюсти чистоту расы, хотя дело это невысказанное и бесперспективное. Нереальное.

Вспоминается смешной эпизод из лагерных времен. Попал с нами тогда за решетку директор Свердловского оперного театра, посадили его как немца, но поняв, в какую передрыгу вляпался, он попросился на волю, доказав, что он — еврей. И, что самое поразительное, его выпустили! Значит, в свое время этот человек скрывал свое происхождение, стеснялся и предпочитал прослыть немцем, а когда его загребли вместе с нами, предпочел выйти на свободу в качестве человека своей истинной национальности!

Я немец и никогда этого не скрывал, я понимаю, что национализм страшная вещь, опасность от него исходит двусторонняя, и относиться к нему можно и плохо, и хорошо, как ни странно это звучит. Конкретный вариант национализма может означать, что некоторые его формы, если они не ущемляют других наций, прогрессивны и положительны. Условно говоря, существует неагрессивный национализм. А есть национализм агрессивный, и, как всякое агрессивное начало, мне лично он очень неприятен. Когда агрессивные националисты проповедуют: мы умнее и лучше всех, а

остальные дураки, сволочи и люди второго сорта — это национализм отрицательный. Может быть и иной вариант, когда националисты заявляют: мы умнее, лучше всех, но и остальные тоже не дураки, не сволочи и не второстепенны. Также неприемлемый, с моей точки зрения, вариант. Приемлемый вариант — мы все одинаковы перед лицом Господа Бога.

Я принадлежу к данной нации и невольно болею за нее, как можно болеть за «Динамо» или за «Спартак» — обе хорошие футбольные команды, однако это не значит, что «Динамо» лучше «Спартака» или наоборот. Но евреи утверждают, что они богоизбранная нация, и так написано в Священном Писании, русские убеждены, что они особый народ, призванный возродить мир, нормальное, по-моему, убеждение, европейцы тоже полагают, что несут всему человечеству и мудрость, и цивилизацию, мусульмане считают, что их мир — мир правоверных на Земле, и да будет тебе благо, если ты искоренишь иноверца — в Коране есть такие суры, где подобное истребление поощряется. . . . Что же получается — пока существуют на Земле нации, мы никогда не станем интернационалистами, не избежим отвратительных черт национализма?

Считаю, Бог с ними, с нациями, разница не страшна, все зависит от того, агрессивен ли национализм или он типа «я болею за свою команду». Если «болею за свою команду», стараюсь, чтобы она, то есть моя нация, процветала, была на первом месте и в экономике, и в науке, и в культуре, и в нравственности, то ничего плохого в этом нет. Если национализм сводится к тому, что я сейчас дам по морде такому-то только потому, что он иной национальности, то это отрицательный, агрессивный вариант. Национализм может иметь и такую, и такую форму. Одна вполне положительна и приемлема, другая заведомо омерзительна, ибо враждебна другим нациям. Национализм, возвышающий свою нацию и не враждебный другим, это неплохо.

Помню, вернувшись в девяносто шестом году из Баварии, я написал в одной статье, что там «умный» национализм, заключающийся в желании сохранить этническую индивидуальность, нацию, свой народ, свои обычаи, однако ни одному баварцу не приходит в голову бредовая идея о суверенитете, ибо, с моей точки зрения, сегодня суверенитет синоним слова «глупость». Бавария входит в состав Германии, и если баварцам предложить выйти из объединенной Германии, они будут считать это идиотизмом, который свойствен только дураку или негодяю. По аналогии я считаю такой же глупостью отделение друг от друга России, Белоруссии и Украины. Это дурь, ухудшение жизни народов всех этих стран только ради того, чтобы высокое начальство вышло на уровень «президентства».

Повторяю, уважение к собственной нации — чувство естественное и похвальное, прекрасно, если человек старается не уронить достоинства своего народа. Порой национальное чувство обостряется настолько (как правило, этому способствуют экстремальные обстоятельства), что национализм переходит в иную стадию, именуемую нацизмом. Он представляет собой крайнюю степень националистических проявлений, и об этом стоит поговорить отдельно.

В последние годы нацизм стал вдруг проявляться в России, так страшно пострадавшей от него в последнюю мировую войну. Молодежь, в частности так называемые баркашовцы, носит знак, напоминающий свастику, — надеюсь, это не подражание нацистской Германии. Если проследить происхож-

дение свастики как знака, то оно уходит корнями еще в неолит, в каменный век, однако смысл его утерян, скорее всего он в древних представлениях олицетворял Солнце, так считают историки, специалисты по каменному веку. Он часто встречается на посуде той эпохи, наверное, встречался и на деревянных изделиях, но дерево не сохранилось, а посуда дошла до наших времен, и на ней можно видеть этот старинный символ. Ничего плохого в нем как таковом нет.

В более поздние времена знак свастики использовали римские легионеры, а совсем недавно фашисты, и не только фашисты, — скажем, в Финляндии, еще до Гитлера и Муссолини, на финских самолетах стояла свастика, но, кажется, синего цвета. Сам по себе этот символ вполне безобиден, но, когда к власти пришел Гитлер, свастика стала ассоциироваться с фашизмом. Свастика часто встречается при археологических раскопках, по-своему это очень красивое обозначение в смысле краткости — вращающийся крест. Римские легионеры водружали знак свастики как навершие на древках знамен, использовался он и в качестве графической детали в древней архитектуре, например, как орнамент на фризе. То, что свастика приобрела особый смысл у фашистов, просто каприз истории, ничего своего они выдумать не могли.

Нацизм отличается от национализма тем, что национализм утверждает: мы — хорошая нация, а нацизм утверждает: другие нации плохие, и тем самым как бы отказывает им в праве на существование. Неагрессивный, положительный национализм свидетельствует о гордости человека тем, что он принадлежит к своей нации; даже у Ленина — уж на что интернационалист был! — есть статья «О национальной гордости великороссов». А вот отрицательный, агрессивный национализм, уничижающий другие нации, конечно, надо отметить, это явная глупость. Потому что другие нации ничуть не хуже, просто они другие, но такие же достойные.

Попытаюсь объяснить причину этого процесса у нас, в стране, которая боролась с нацизмом и понесла потерь больше всех стран. К сожалению, сейчас из-за своей болезни я не имею постоянных контактов с молодежью, со студентами, связи как бы нарушены, но в какой-то мере их понимаю. Понимаю в том смысле (я хочу сказать о позитивной стороне процесса, о негативной чего и говорить, она очевидна), что у молодежи агрессивные националистические проявления являются в какой-то мере реакцией на то, что сотворили с Россией головоотяпы-правители, Ельцин и компания. Из великой страны, которой мы все гордились, они сделали половую тряпку, о которую все теперь вытирают ноги. Естественно, это вызывает возмущение и протест у молодежи. Нацепив на себя знаки свастики, они как бы говорят: «А мы всё равно великие, лучшие, мы самые главные! А все остальные — дерьмо!» Потому что Ельцин как раз сделал то, отчего мы стали дерьмом в глазах всего мира. И подобный протест есть реакция молодежи, да и не только молодежи, на безнравственный поступок правителей, на состояние и репутацию страны, падшей так низко.

К сожалению, возникают и явно фашиствующие организации, но при нашем руководстве, я имею в виду прежде всего главную персону, ничего хорошего ждать нельзя. Ельцин весьма опрометчивый человек, хотя и большой специалист по части дворцовых интриг, в которых ему, может быть, нет равных, но он абсолютно не понимает, что происходит в обществе, здесь он полный ноль. Поэтому неудивительно, что предпринимаются всевозмож-

ные попытки как-то подняться над его уровнем, что в общем-то сделать не трудно. Один из таких выбросов и есть агрессивный национализм.

Конечно, Россию не может охватить такая волна фашизма, как в свое время Италию и Германию, просто потому, что мы многонациональная страна. В Германии жили только немцы и небольшой процент евреев, поэтому фашизм мог тотально охватить страну. В Италии тоже были мелкие национальные вкрапления, но в основном там жили итальянцы. А в нашей стране есть области, где русские считаются исключением. И я рад, что с идеей фашизма у нас, скорее всего, ничего не получится, однако состояние страны, унижение своей нации в глазах всего мира вызывает справедливое негодование отдельных групп, в особенности молодых людей. Я тоже негожую, и если бы я был молодой — может быть, это кого-нибудь шокирует, — тоже мог бы примкнуть к подобному движению, что является вполне естественной реакцией на дурость нашего руководства, на экономический и политический крах страны, на низкий нравственный и материальный уровень жизни, на то, что одним позволено все, а другие — и их подавляющее большинство — протягивают руку за подаванием в прямом и переносном смысле этого слова.

Боюсь, что подобные умозаключения многим покажутся мрачными: эссе под названием «Мрачные мысли» я завершил два года назад свою предыдущую книгу «Пристрастие»; кое-кто может сказать: «Повторяется старик, повторяется. . .» Что поделаешь. Приходится повторяться — ведь «кони все скачут и скачут, а избы горят и горят». . . Обстановка в России не вызывает радужного настроения. Я уже упомянул о падении качества нашего народа, стоит сказать и о разрушении основы российского общества, его ячейки, как принято выражаться, — семьи.

При всей изначальной патриархальности Руси, ее прочной семейственности в светлые исторические моменты, семья в России сегодня разрушается, сходит на нет. И если пока еще не разразилась катастрофа, то, считаю, заслуга в этом прежде всего русских женщин.

Отмечу, что отношение к женщине в России, конечно, менялось на протяжении веков, но в основном, я бы сказал, было уважительным. В принципе, если брать соответствующие эпохи, то в России к женщине относились лучше, чем на Западе. Таково общее впечатление. У нас не было такой поговорки, как, например, в Германии: там считалось, что жизнь женщин составляют три «К» — Küche, Kinder, Kirche — кухня, дети, церковь. В этом смысле женщины в России всегда были более свободны.

Сейчас ситуация несколько изменилась. Формально положение женщины не отличается от положения мужчины, скажем, в зарплате, однако на самом деле женщин всегда затирают. Это имеет объективные причины: женщина становится матерью, у нее рождаются дети, и невольно большая часть ее умственных способностей направлена на ребенка, а не на работу. Это неизбежно и правильно, но сказывается на карьере, и поэтому женщине трудно пробиваться на высокие посты. Если же она все-таки пробивается, то выясняется, что она не замужем, у нее нет детей, то есть она разменяла их на карьеру. С детьми женщине карьеру сделать, конечно, трудно, и я думаю, не надо. Каждому Бог дал то, чего от него ждет природа.

В результате эмансипации женщина формально становится как бы на мужскую позицию. Возникает вопрос: нужна ли была в свое время эмансипация? На него я ответил бы так: мои потенциальные читатели, к со-

жалению, не специалисты по теории регулирования, которые знают, что при всяком изменении, при всяком регулировании сначала получается «заброс», то есть больше, чем нужно, а потом уже все возвращается к норме. Эмансипация сама по себе вещь хорошая, но в разумных рамках, потому что полностью женщина заменить мужчину не может, точно так же, как мужчина не может заменить женщину. У каждого из них своя сфера деятельности. Сам лозунг эмансипации по правилам теории регулирования должен был дать и дал «заброс», когда эмансипация стала целью. Все, мол, должны быть одинаковыми. И у нас появились женщины — капитаны дальнего плавания, женщины-летчики, женщины-футболисты. . . Кому это надо? Летчицы хоть домой возвращаются, а капитан дальнего плавания уходит в рейс на несколько месяцев, и, если у капитана есть дети, кто будет ими заниматься? Это же чушь!

Есть разделение обязанностей между полами, и не надо выяснять, какой пол важнее, какой в подчинении. У каждого свое предназначение. И когда мы нарушаем естественное разделение обязанностей, не всегда получается хорошо.

В Америке женщины яростно борются за свои права, может быть, и правильно делают, что борются. Если женщина хочет быть, к примеру, президентом, но умудряется при этом сохранить семью, нанимая прислугу, няню и прочее, то пусть она будет президентом! Если женщина, при высокой карьере, остается хорошей матерью, то слава тебе, Господи! Но, к сожалению, в реальной жизни так получается редко, и в результате мы видим заброшенный быт, невоспитанных детей, неухоженного мужа при деловой жене, уверенно поднимающейся по лестнице карьеры.

Все-таки существует естественное разделение труда между полами, созданное не культурой, а идущее откуда-то из глубины веков, из первобытности, оно сложилось исторически, и не надо его нарушать. Потому что в мире есть женские и мужские функции, но женские важнее, их я перечислил выше. Глупо, чтобы все в природе было одинаковым. Она создала нас разными, разными во всех отношениях, и я ничего дурного в этом не вижу, так зачем же нарушать естественный ход развития? Плохо, когда женщина пытается делать все сама, лидировать, а у нас, к сожалению, так и происходит, поощряется тем, что мужчины в нашу эпоху, вернее в последние ее десятилетия, не в состоянии в нашей стране содержать семью.

В Германии сейчас такие законы, что молодые люди не стремятся заключить семейный союз, поскольку материально выгоднее быть матерью-одиночкой и отцом, не связанным узами брака. Я думаю, они когда-нибудь поймут, что это разрушает семейную ячейку, а сейчас сложилась такая ситуация, что жениться официально — да ни за что! У нас ситуация начинает становиться похожей, однако, в отличие от российского мужчины, в Германии мужчина может обеспечить семью, в то же время в германских законах есть некая специфика, которой нет в других странах, ряд параграфов, делающих брак весьма опасным предприятием и для мужчины, и для женщины.

В России пока еще женятся охотно, даже венчаются в церкви, а потом эти браки часто мгновенно распадаются, и причина не только в том, что мужчина не может содержать семью материально. Отношения губит неоправданно легкий взгляд на жизнь, на семью, подмена понятия «любовь» понятием «секс», причем в этих отношениях женщина становится отвратительно агрессивной, что страшнее, чем мужская агрессия.

С моей точки зрения, подобная современная расхристанность, которая у нас входит в моду, временна. Скоро надоест, и может быть, лет через двадцать–тридцать захочется опять чего-нибудь личного. Ведь моды, в том числе и на выражение и осуществление чувств, волнообразны, они проходят, пройдет, я уверен, и эта, однако не оттого, что люди поумнеют, а просто им надоест стереотип.

Говоря о семье, о браке, об отношениях мужчины и женщины, нельзя не коснуться еще одного щекотливого момента: все чаще и чаще возникает проблема импотенции молодых людей. Может быть, им и хотелось бы создать семью, но, собственно говоря, незачем. Это результат нервных перегрузок, венерических заболеваний, алкоголизма, наркомании, неправильного питания, плохой экологии, отношения людей друг к другу, да и всего строя нашей жизни. В России рождается слишком большой процент детей-уродов, больше, чем было, скажем, до революции. И наш теперешний правитель и его помощники равнодушно взирают на это. Народ им не нужен. Боюсь, что с заменой одного–двух человек у власти ничего изменить не удастся, нужно что-то вроде Октябрьской революции — грубо говоря, всех прогнать и создавать заново. Нужны очень крутые меры, в частности связанные с решением семейных проблем, но сейчас их предпринимать никто не будет, кому это надо? Заботиться о народе, здоровье и приросте населения — то есть о благосостоянии нации — временщики не могут, у них не та психология. Остается надежда на здравый смысл тех, кто придет им на смену.

Глава 10

Однажды я обмолвился неосторожной фразой: «Я всё могу», имея в виду свою работу, профессию. Мне кажется — но, может быть, и ошибаюсь, — что я и сейчас все могу; просто я воспринимаю себя таким, каким был до болезни. Скажем точнее: ощущаю, чувствую, что все могу, но не совсем уверен, так ли это. Когда начну работать, может оказаться, что и не могу. Боюсь, сейчас не удастся доказать новую теорему, что раньше мне было легко, но это опасение человека, который пока ни к чему не приступал.

Моя преподавательская деятельность на физтехе прервалась с началом болезни, я перестал читать свои курсы, но прошло это нормально и как-то незаметно для меня, потому что начались разные реорганизации, и в результате мой курс можно было и не читать или читать по-другому и другим людям. Уступил свое место не потому, что мне наскучило заниматься этим делом, просто хотелось, чтобы другие преподаватели могли получать необходимую нагрузку. Я люблю преподавать, как выяснилось за много лет моей деятельности, но не как профессионал — каждый день по несколько пар, — а часа два в неделю, тогда меня это даже увлекает. Думаю, мне было бы интересно читать лекции на любую тему — важно, чтобы меня слушали, — хотя читал я их по темам, которые, естественно, знаю. Мне нравится не что, а именно сам процесс, приятно взаимодействие с аудиторией, которую, пожалуй, я чувствую хорошо.

Началось это много лет назад, когда я еще студентом зарабатывал где и как только мог, в том числе и лекциями по противовоздушной обороне. У меня были для этого и формальные основания, и необходимые документы, я читал курс, принимал экзамены даже в Ленинградском хореографическом училище имени А. Я. Вагановой, и экзамен по ПВО мне сдавала Галина Сергеевна Уланова! Так что некоторым образом я «причастен» к русскому балету.

Потом, как я уже упоминал, была преподавательская работа в Нижнетагильском индустриальном институте, где я окончательно убедился, что люблю это дело, но в разумных дозах. Позже преподавал в Московском университете и на физтехе, когда он выделился в самостоятельный институт. Лекции по моей специальности, то есть курсы узко направленные, думаю, мало кого интересовали со стороны, кроме, конечно, студентов, которым я преподавал, — ну кто побежит на лекцию по динамике космического полета? Самое интересное, что в это же время на физтехе я читал курс из десяти лекций под названием «Иконы». Их приезжали послушать в Долгопрудный даже из Москвы, потому что тогда, в эпоху атеизма, я рассказывал о том,

за что нормальные атеисты меня бы «застрелили». А на физтехе улыбаясь говорили, что я веду атеистическую пропаганду. Там работали умные люди, все понимающие, но, чтобы не насторожились в партийных инстанциях, они делали вид, что идет разъяснение атеистических идей для широких масс — так и записывали в соответствующих отчетах.

Несколько отклоняясь от основной нити своего повествования, замечу, что все чаще люди задумываются: не назрел ли синтез двух систем познания, религиозной и научной? Хотя я не стал бы разделять религиозное и научное мировоззрения, а взял бы шире — логическое, в том числе и научное, и внелогическое, куда входит не только религия, но и искусство: разные грани мировоззрения. Если рассуждать грубо, очень грубо, то можно сказать, что они не зависят друг от друга. Одна половина мозга занимается логической частью познания, другая — внелогической. Это даже в какой-то мере разделено физиологически, на левое и правое полушария. Одно отвечает за логические знания, в том числе за науку, и речь, и так далее, другое занимается внелогическим познанием мира, там сосредоточены чувство красоты, поэзия, религия. . . Это очень грубая схема. Мне не хотелось бы так препарировать человека: вот левое, вот правое, и они совершенно не связаны. На самом деле человек — это некое единство, и ему свойственно целостное понимание мира. Обе части одинаково важны, одинаково, если можно так выразиться, дополняют друг друга.

У Гомера есть пример взаимодействия логической и внелогической частей нашего сознания. В «Илиаде» Гектор говорит об ожидающей его трагической судьбе:

. . . Твердо я ведаю сам, убеждаясь и мыслью, и сердцем,
Будет некогда день, и погибнет священная Троя. . .

Как видите, Гектор ведает и мыслью (основываясь на рациональном мышлении), и сердцем (опираясь на образные предчувствия). Для дальнейшей античной традиции характерно разделение «мнения», то есть того, что получено посредством чувств, и «знания», имеющего своим источником разум. Для целостного же восприятия мира следует, что наука и религия не противоречат, а дополняют друг друга, точно так же, как искусство не противоречит науке, а дополняет человеческое восприятие мира. Наука изучает законы материального мира, что не является целью религии. Поэтому здесь не может возникнуть никаких конфликтов или недоразумений.

Казалось бы, чистая математика не имеет ко всему этому никакого отношения. Однако на самом деле это не так. Математика по своей сути чистая логика, и тем не менее ей свойственно такое внелогическое понятие, как «красота». Люди, занимающиеся математикой, знают, что нередко существует несколько доказательств какой-либо теоремы. Они все безусловно правильны, но любой математик выделит из них одно или два, отличающиеся особой красотой. Эта красота является ощущением того, какими тонкими логическими ходами, их переплетениями и часто неожиданными заимствованиями из других разделов математики получено доказательство. Многие особо ценят при этом не столько результат (содержание теоремы), сколько изящное доказательство. Поэтому нельзя утверждать, что математика не эмоциональная часть мышления.

Я специально привел в качестве примера математику, пытаюсь показать, что все сплетено и нельзя это разрывать. Конечно, для упрощения,

рассуждая грубо, грубо моделируя, мы делим в жизни: наука — искусство, однако это возможно только при самом первом приближении. Неверность такого деления доказывает, например, следующее: я уже говорил, что математика красива, но, с другой стороны, и религия — это логика. Религиозные переживания — о них можно говорить отдельно и очень много — это сфера эмоционального. Но ведь существует и богословие, совершенное логическое построение наподобие философских систем — суховатое, строгое, как математика; оно держится на логике, вспомним хотя бы великих западных католических схоластов, это же настоящие ученые! Богословие это как бы оппозиция религиозному переживанию, сухая материя, которой могут заниматься и атеисты. Да, атеисты могут прекрасно заниматься богословием, ведь в нем есть некая система аксиом, система канонов, из которых логически выводится все остальное. Поэтому, несколько утрируя, можно утверждать, что богословием способен заниматься даже человек неверующий, например искусствовед, комментируя богословское содержание икон.

Существование логически строгого богословия наряду с глубоко интимным религиозным переживанием и красота сухих математических доказательств свидетельствуют о том, что на самом деле разрыва нет, есть целостное восприятие мира. Но если рассуждать приближенно, то, конечно, есть и логическое познание мира — это наука, и внелогическое — это искусство, этика, религия и прочее.

Именно логически я подошел в свое время к существованию «гена религиозности», как бы «вычислил» этот ген из наблюдения за происходящими явлениями.

Еще до современной генетики люди заметили, что есть свойства, которые передаются по наследству. Лучший пример — бурбонский нос — приводится в разного рода литературе. Многие поколения французских королей династии Бурбонов имели характерные массивные носы. Тогда не было понятия о генах, но все знали, что некоторые семейные признаки передаются из рода в род. И вот, наблюдая реальную жизнь, я обратил внимание, что потребность в религии может передаваться по наследству. Какие здесь возможны аналогии?

Начнем с того, что никого не удивляет, если какой-то человек хорошо рисует, а через некоторое время из него вырастает крупный художник. Никого не удивляет, если музыкально одаренный ребенок становится замечательным музыкантом. Более того, мы знаем, что иногда это передается потомству: писатели Дюма, композиторы Штраусы, династия Иоганна Себастьяна Баха и т. д. Иногда эти способности проявляются через поколение, иногда через два поколения.

Если проявляются определенные способности такого рода в сфере искусства, то почему не может проявиться и способность к религиозному чувству? Это ведь тоже своего рода одаренность.

Обратите внимание, что, как правило, способных людей не так много, их всегда какое-то ограниченное число. Хорошо, если в школе, в одном классе, есть два-три ученика, преуспевающих, например, в рисовании. Вероятно, столь же мало учеников с явно выраженными музыкальными способностями или артистическим талантом. Но тогда естественно предположить, что таково же будет и число детей, обладающих способностью к религиозным переживаниям, тоже своего рода творчеству. По моим подсчетам, как я уже упоминал неоднократно, у нас людей с ярко выраженной способностью к ре-

лигиозному переживанию всего 10–15% от общей массы — примерно столько же, сколько способных к какому-либо виду искусства учеников в классе. Однажды я беседовал с пастором из Германии, оценивая количество глубоко верующих в его церкви, и мы сошлись в том, что число их примерно одинаково и у нас, и у них: 10–15%.

Как же ведут себя остальные 85–90% людей? Ответ прост: так, как принято в обществе. На Западе они посещают церковь, когда положено (в праздники); постепенно приобщаются к вере, многие становятся искренне верующими, точно так же, как, например, не наделенный особыми музыкальными способностями человек может стать любителем и ценителем музыки, если его с детства регулярно водили в филармонию.

У нас эти 85–90% людей не посещали церковь просто потому, что или беспокоились за свою служебную карьеру — такое посещение в недавние времена было опасным, или им казалось, что религиозность свидетельствует об их темноте. В церковь ходили только те, кто без веры не мог жить.

Это обстоятельство не ускользнуло от внимания западных священников. Один из них, посетивший нашу страну во времена воинствующего атеизма, побывал в небольших, не парадных храмах и был поражен. Он признался, что первый раз в жизни ему удалось увидеть, что все, стоящие в храме, истинно верующие люди, это он понял по их глазам. В своей церкви, на Западе, ему приходилось видеть таких людей тоже, но это были единицы в массе относительно равнодушных прихожан.

Люди с ярко выраженной способностью и потребностью к религиозным чувствам могут передавать их по наследству. Чтобы придать данному утверждению современную форму, я и ввел понятие «ген религиозности» — поскольку, по современному воззрению, наследственностью управляют гены, — хотя в этом названии есть, конечно, элемент условности.

То, что и на Западе, и у нас во времена атеизма процент глубоко верующих был одинаков, тоже свидетельствует о «генном» характере этого феномена. Однако необязательно, что «ген религиозности» передается по наследству от отца к сыну, он способен проявиться и через два, и через три поколения, в традиционно атеистической семье он может передаться правнучке от известной своей набожностью прабабушки. . .

Кому-то эти рассуждения могут показаться малоубедительными, поэтому приведу отрывок из полученного мною письма:

«Я знаю девушку, которая представляет третье поколение атеистов. Ее мать и отец — некрещеные, обе бабушки идейные коммунистки. . . Мать и отец тоже члены партии, и в семье царил чистой воды атеизм. Она — ее зовут Марина — блестяще закончила английскую школу, была активной комсомолкой, закончила университет, была секретарем ВЛКСМ факультета, и вот однажды ее мать, моя коллега по институту, с плачем рассказала мне, что ее Марина свихнулась. Она крестилась, она постится, когда положено, ездит в храм в Гатчину, поскольку в Ленинграде опасается нежелательных встреч. . . Мать Марины недоумевала — откуда это?»

Если встать на «генную» точку зрения, то тут все закономерно. В Марине реализовалась способность какого-то далекого предка. Ее естественная спо-

способность (и потребность) к религиозному переживанию была первоначально задавлена внешними обстоятельствами, и при первой же возможности она дала о себе знать самым убедительным образом. Так бывает и с художественными способностями. Известно, что есть люди, взявшиеся за кисть после выхода на пенсию. Искусствоведы ахают: какой талант! Как жаль, что он не проявился в молодости! А в молодости этому мешали внешние обстоятельства.

Известно, что наследственно закрепляется только то, что важно, идет некий естественный отбор. Я пытался показать в свое время, что религиозное чувство играло очень важную роль в далекой древности. И тут надо пояснить, что под религиозным чувством я подразумеваю ощущение человеком своей сопричастности грандиозным космическим процессам. Человек, который не знает, как знает ученый, что есть галактики, не понимает этого, может быть даже неграмотен, но чувствует, именно чувствует, что Вселенная как-то в нем отражается, такой человек способен подсознательно реагировать на процессы, идущие в окружающем его близком или далеком Космосе, и в результате знает как бы больше, чем это дает логика.

Приведу простейший пример: биологам известно, что многие животные «знают», какой будет предстоящая зима, и соответственно этому готовят запасы корма. Ведь очевидно, что «знают» они на внелогическом уровне, причем «знают» то, что недоступно нашим ученым с их компьютерами. Многие животные заранее покидают места, где может разразиться катастрофа. Наблюдения такого рода хорошо известны. Нет сомнения, что и первобытный человек, чтобы выжить, должен был обладать такими способностями.

Древний человек, ощущая окружающий мир, в отличие от животных пытался понять свои ощущения и сообщить о них другим членам племени. В этот момент он как бы переводил в слова свои ощущения, что в полном объеме, конечно, невозможно. Отражавшиеся в его подсознании космические процессы он был вынужден истолковывать как ощущаемое им действие неких Высших сил, управляющих Вселенной. Иногда он утверждал (подобно древним китайцам), что такова «воля Неба», иногда — что этого требуют души предков, иногда — что боги указывают на необходимость таких-то действий. И если человек правильно чувствовал, что полезно и что вредно для его собратьев сегодня, если он чутко ощущал грядущее, то становился очень полезным для своего племени. Такие способности должны были закрепляться в процессе борьбы за существование и передаваться по наследству. Конечно, не все члены первобытной общины в равной степени обладали этой чувствительностью, но в итоге особо чувствительные становились вождями, шаманами, знахарями и прочее. Они и дали впоследствии те современные 10–15% людей, обладающих повышенной способностью к религиозным переживаниям.

Я упомянул о том, как понимал окружающее наш далекий предок. Чем же на самом деле являются эти Высшие силы? Действительно ли они — Провидение, сообщающее нашей жизни во всей ее тысячелетней объятности смысл и цель, или это тупые и безразличные ко всему законы Природы? Однозначно ответить на поставленный вопрос нельзя. Верующий скажет, что речь шла о начале процесса, постепенно приведшего людей к единому Богу; атеист будет утверждать, что речь шла лишь о еще не познанных законах Природы. Впрочем, это только подтверждает давно известное утверждение:

логически нельзя доказать ни бытия Бога, ни его отсутствия во Вселенной.

Сегодня имевшейся в прошлом у людей способности руководствоваться внелогическими «знаниями» в том же объеме, который существовал раньше, практически нет. Она пала под напором новых жизненных условий, которые называют «цивилизацией»; человек уже не чувствует себя элементом Космоса, он скорее житель города N, живущий на улице NN. Эта потеря, в известной мере, восполняется сегодня религиозной жизнью, возвращающей нас к Исходному.

У нас процесс возвращения к Исходному протекает болезненно. Не следует забывать, что живущие сейчас поколения выросли в условиях воинствующего атеизма, который не ограничивался пропагандой своей точки зрения (как это происходит в цивилизованном мире), а, ощущая свое бессилие, включил на полную мощность аппарат государственного принуждения. Запрещалось все. Церковь, оплот Веры, лишили многого, даже возможности делать то, что требует ее учение — творить милосердие. Один современный архиерей горько заметил, что мы были единственной страной, где закон запрещал творить добро. Если еще учесть, что любую форму проповеди религиозного характера вне стен церковного храма преследовали в уголовном порядке, то, казалось бы, должен был воцариться «научный» атеизм. Но едва люди получили свободу, как стало очевидным, что расстрелы, костры из икон, разрушение церквей, преследование религии и верующих, повсеместная пропаганда атеизма так ничего и не дали. Значит, религия имеет какие-то очень глубокие корни и не является заблуждением, с которым легко могут справиться власть, наука, школа.

Размышлениями над «геном религиозности» я занялся лет десять–пятнадцать назад, поскольку был явным антиатеистом, имея в виду атеизм советского типа, и проповедовал православную религию, что в те времена считалось несусветной наглостью. Мои лекции стремились послушать не только студенты, что вполне естественно, но и преподаватели, и люди, близкие связанные с искусством и православием. Аудитория заполнялась настолько, что многие сидели на лестницах и ступеньках.

Не знаю, владею ли я необходимым даром, чтобы держать в напряжении подобную разношерстную публику, но очевидно утверждали, что было интересно всем. Без ложной скромности скажу, что могу построить лекцию без всякого занудства, свободно, импровизированно, без конспектов и шпаргалок, и в той стилистике, которая близка молодежи. Это были не сухие тезисы важного академика, выставляющего свое «я», а информация их ровесника по системе мышления, своего в доску, как бы выразились студенты, который читает понятно и на грани дозволенного риска для того времени. Иконы и как их понимать или рассуждения о «гене религиозности» в семидесятые годы, да и позже, были темой опасной, запрещенной, поэтому и приходило много народу. Сама лекция занимала час–полтора, а потом задавали уйму вопросов, иногда ответы на них занимали такое же время, что и сама лекция.

Работая в фирме Королёва, я, конечно, не мог говорить каждому встречному-поперечному, что с отношением к религии у нас не все в порядке, но в тот момент уже все-таки стал «открываться», и это сходило мне с рук благодаря своеобразной форме изложения. Разумеется, приходилось прибегать к эзопову языку, но помню, что после моих лекций ко мне пришел один коллега и заявил: «Я решил креститься!» Он таким образом пошутил, давая

мне понять, что направленность моих рассуждений ведет его напрямиком в церковь.

Кое-какие лекции я читал и на фирме, но основной цикл, как я уже сказал, был прочитан в Долгопрудном, на физтехе. Я испытывал внутреннее давление, потребность в этой работе: во-первых, мне нравился сам процесс преподавания, я не сопротивлялся, а даже радовался возможности высказаться; а во-вторых, почему, собственно, мне не высказать то, что я на самом деле думаю? Я обратил внимание, что мнение одного человека всегда интересно другим людям, пусть даже они с ним и не согласны; важно, чтобы это было мнение не дилетанта.

Почему, спрашивается, в Долгопрудный из Москвы приезжали совершенно не знакомые мне люди, и я с удивлением наблюдал, как после лекции они бегут на электричку в Москву; значит, они специально ехали за город, чтобы меня послушать, причем ездили регулярно, ведь после цикла «Иконы» я читал лекции и на другие темы. Мне думается, что дело заключалось в подходе: я брал такую тему, которая позволяла мне внутри нее «растекаться мыслию по древу». Например, говоря о богословии и иконопочитании, я читал соответствующие разделы курса как верующий верующим, а не как лектор слушателям. Это оттенки, но они имеют очень важное значение. У меня была внутренняя потребность высказаться, у аудитории была внутренняя потребность услышать что-то, подтверждающее ее догадки.

Читал я по возможности нейтрально, чтобы неверующие понимали мои лекции, как изложение некоторых необычных теорий, а верующие не испытывали ни в какой момент отрицательных эмоций. И хотя я начал с икон, естественно, все сводилось к богословию. Это не значит, что я пытался, например, комментировать Евангелие от Матфея, и не потому, что мне этого не хотелось, а потому, что его столько раз комментировали и столько раз анализировали с разных точек зрения, что добавить мне было нечего. А если нечего добавить, к чему понапрасну пыхтеть? Я знал, что Евангелие уже комментировали такие люди, что не мне лезть в это дело с моими жалкими познаниями в этой области.

Самое смешное, что один корреспондент как-то спросил меня, не боялся ли я, в некотором смысле религиозный человек, запускать космические приборы «туда», к Богу, как он выразился. Нет, не боялся. Потому что Бог не «там»; с точки зрения геометрии, математики считается, что Бог находится в четвертом измерении. У нас три измерения: вперед-назад, влево-вправо, и вверх-вниз, не так ли? Но, видимо, существует четвертое измерение, перпендикулярное к ним, которое представить себе нельзя, но если его ввести — а это единственный выход, — тогда все объясняется очень просто и хорошо.

В семидесятые годы мы с женой часто ездили по стране, посещали храмы, особенно в отпускное время. Однажды в Волоколамске к нам подошел священник, желая что-то объяснить. Он очень удивился, когда я ему сказал, что в иконостасе у них не порядок, что эта икона должна быть в этом ряду, а та — в том, поэтому надо поправить. Если уж я чем-нибудь интересуюсь, то дохожу до самой сути, читаю все, что по данному вопросу можно достать, а в то время я получал литературу в Духовной академии, работая над книгами, посвященными иконам. Не вижу в этом ничего особенного, потому что так работал всю жизнь, и то, чем я занимался всю жизнь, состоялось, конечно, с некоторыми оговорками. В принципе состоялось. Потому что, как я уже говорил, мне редко везло в жизни. Повезло и в науке, и в

преподавательской деятельности. Это большое везение — передавать кому-то свои знания. Тем более в России, где система образования много выше, чем в других странах, на несколько голов выше. . .

В свое время на Западе педагоги поддались влиянию модной в первой четверти или в первой половине XX века идеи о том, что должно происходить саморазвитие ребенка, ему не надо мешать в этом процессе, все должно идти самотеком. В какой-то малой мере это правильно, но в основном — глупость. Детей, конечно, надо «натаскивать»; кто же из них, к примеру, будет по своей воле учить таблицу умножения? Ребенку это в голову не придет! Думаю, что разные системы образования отличаются друг от друга тем, в каком процентном соотношении находится та самая «палка», которая заставляет учиться, и желание ребенка или обучаемого любого возраста постигнуть что-то сознательно. По своему многолетнему педагогическому опыту могу сказать, что «палка», конечно, важнее, и для меня это совершенно очевидно. Надо заставлять учиться, потому что получая в конце концов удовольствие, скажем, от игры на пианино, нужно до этого многие годы играть гаммы. Да, гаммы — ужасное занудство, я их сам долбил в детстве, и признаюсь, что это мука. Но если я не выучился игре на фортепьяно по-настоящему, то потому что не ставил перед собой такой задачи. Рихтер начинал с тех же самых гамм и, в отличие от меня, стал пианистом мирового класса. Точно так же обстоит дело и в науке, и в искусстве, везде, где надо проходить школу. И в этом смысле наша школа лучше, чем школа на Западе, потому что она. . . отсталая, как ни парадоксально это звучит, потому что она держится за XIX-й, а не за XX век, в ней сохранилась педагогическая методика XIX века.

В XX веке появилось много «умных» людей — я, разумеется, не считая их умными, поэтому беру это слово в кавычки, — которые любили разглагольствовать, проповедуя идею свободного, без принуждения, развития ребенка. В результате эта тенденция привела к резкому ухудшению образования на Западе. Ребенок не будет учить что-то сам, зачем ему это надо, тем более если перед ним сложные, недоступные его уму вещи! Идея современной западной педагогики о естественном ненасильственном пути, может быть, и прекрасна, но достигает мизерного результата. Таково мое впечатление, основанное на фактах.

В свое время моя внучка училась в Германии, и мне было интересно узнавать от нее, что же происходит в немецкой школе, в нормальном учебном заведении, где она занималась в течение целого месяца. Поскольку внучка свободно владеет языком, ей оказалось нетрудно «вписаться» в процесс, и я имел возможность наблюдать его со стороны и изнутри. Оказалось, что более убогого учреждения, чем немецкая школа, представить себе невозможно, внучка была в ужасе, говорила, что одноклассники — тупицы, ничего не знают! И учитель считал, что она несравнимо переросла по знаниям тот класс, в который попала соответственно своему возрасту, и говорил ей: «Тебе надо бы перейти в старший класс, там могут быть ученики на твоём уровне».

Должен отметить, что система образования XIX века сохранилась у нас то ли по недосмотру наших начальников, то ли еще по какой причине, но, к счастью, сохранилась! И не дай Бог, какой-нибудь начальник очнется и примется перестраивать ее на американский лад, тем более что в начальники, как уже неоднократно говорилось, идут в основном пустозвоны.

Наша система образования своеобразна, практически никому не подражала, хотя в силу обстоятельств кое в чем опиралась на немецкую систему — заседания Академии наук и преподавание в университете во времена Ломоносова и позже шли на немецком языке. Помните пушкинские строки: «... Владимир Ленской, с душою прямо геттингенской»? Все пошло со времен Петра I, мы сохранили старую школу, а немцы в начале XX века у себя все переделали. В этом они бестолочь хуже нас, значительно хуже. Мы все это, образно говоря, посыпали солью, заквасили на традиционно русский манер, а немцы стали переделывать в соответствии с новыми веяниями. Ну и допрыгались. Образовательный уровень немецких школьников и студентов несравнимо ниже, чем у российских, даже в столь тяжелое для нас время. Тяжелое, разумеется, и для системы образования. Уровень образования у нас и, условно говоря, в Германии, но я могу назвать и Америку, и другие страны, несмотря ни на что, сильно отличается в нашу пользу. Больше всего на свете боюсь, что какой-нибудь безмозглый функционер — а таких в правительстве пруд пруди! — решит провести реформу, чтобы было у нас так же, как в Германии, в Англии или в Америке. Хуже ничего не придумаешь. Уже появились частные гимназии, колледжи, лицеи, но их посещает незначительная часть обучающихся, основная масса продолжает учиться в школах старого образца, и это очень хорошо. Допускаю, что частные учебные заведения соответствуют общей норме, которая существует у нас много лет: что должен знать школьник по окончании среднего образования. То есть определенные общие нормы все равно будут соблюдаться, и избави нас Бог от всяких экспериментов и перемен, они уже были — и бригадный метод, и дальтон-план... По этому поводу был даже написан фельетон, не помню, то ли Ильфом и Петровым, то ли братьями Тур, получивший большую известность. Папа спрашивает сына: «Ну, чем вы занимались в школе?» — «Мы боролись», — отвечает сын. — «А-а, мы тоже в свое время боролись, знаешь, что такое „двойной нельсон“ или бросок через спину?» — «Нет. Мы боролись по-другому» — «А как?» — «Мы боролись с „семеновщиной“» (условно). — «Что это такое — „семеновщина“?» — «Один ученик нашего класса, по фамилии Семенов, допустил ошибки в толковании письма аграриев-марксистов, мы его прорабатывали... Представляете? Так было на самом деле! Хорошо, что это прошло и мы вовремя одумались.

До революции в России существовали и классические гимназии, и реальные училища, и частные гимназии. Они вносили что-то дополнительное в общую систему образования, и такая дифференциация отчасти была правильной. Классическая гимназия со временем отмерла, а реальное училище осталось. Тогда учащиеся даже ходили в разных формах, гимназисты носили фуражки с белыми, реалисты — с желтыми околышами. Самих гимназистов я, конечно, не помню, но вот фуражки застал, их еще донашивали при мне, поэтому и запомнилось, чем отличались «классики» от «реалистов». А вообще-то классическая гимназия отличалась от реального училища тем, что в ней мало внимания уделяли физике и математике, а делали акцент на изучение латинского и древнегреческого языков. Ну, кому это, честно говоря, нужно? Поэтому реальное обучение имело перспективу: там ведущими предметами были физика и математика, а не углубленное изучение литературы, истории. Закон Божий преподавали и в реальном училище, и в классической гимназии, но последняя опять-таки делала упор на изу-

чение латыни, древнегреческого языка, классиков древности, что само по себе было очень интересно: почему бы, собственно, не читать в подлиннике Гомера? Воспитанный человек должен был уметь процитировать в обществе «из Энеиды два стиха» и «в конце письма поставить *vale. . .*», то есть показать широкие гуманитарные знания.

Поскольку в реальных училищах изучали нужные для жизни предметы, физику и математику, после революции классическое образование сошло на нет. Кому нужна латынь, если для поступления в высшее техническое учебное заведение надо знать математику? Шел естественный процесс, и школьная реформа, которую провели у нас после революции, была оправданной. Она ничего не испортила в методике преподавания XIX века, которая, повторяю, была очень успешной, но немного изменила тематику, то есть убрала латынь и греческий, а основной упор сделала на математику, физику, химию. Латынь и древнегреческий остались в университетах, на филологическом, историческом и юридическом факультетах, там, где эти предметы нужны для профессионального образования, для изучения языкознания, литературы, истории, права. Специалистам, конечно, нужна латынь, но инженеру она вряд ли понадобится, если только он сам ею не заинтересуется. А так как большинство заканчивающих высшие учебные заведения все-таки получали техническую профессию, то на первый план вышли точные науки.

У нас сейчас пытаются опять ввести в школах латынь и древнегреческий, то есть вернуться как бы к началу века, но я думаю, вряд ли получится. Хотя в специальных школах их будут преподавать для тех, кто хочет образовываться по этой части. И выпустят человека, образованного гуманитарно, но ужасающего неуча в области физики, математики, химии, что, вообще говоря, не очень соответствует современным понятиям о гармонически развитой личности.

«Ничего чрезмерного», — сказал когда-то Солон, афинский архонт, причисленный к семи греческим мудрецам. Это изречение увековечено даже на каком-то камне. В любом увлечении есть нормальная и ненормальная сторона, и, чтобы человек развивался гармонично, многогранно, надо учитывать соотношение его знаний, занятий, пристрастий. Скажем, в увлечении компьютером, который сейчас стал заурядным настольным прибором, я вижу некую опасность, оно затягивает, как алкоголь, человек переходит границу разумного, «заигрывается» настолько, что аппарат начинает заменять ему все: полезное изобретение оборачивается против изобретателя. Конечно, компьютер увеличивает силу мозга, как рычаг увеличивает силу руки, то есть при его помощи можно сделать то, на что потребовались бы годы или десятки, сотни лет умственной работы. Если ответ нужно иметь к утру, а считать приходится пять суток, то в таких случаях работа руками бессмысленна, необходим компьютер — он сделает все за пятнадцать минут.

Многие, особенно молодые люди, восхищенные перспективой, которая открывается с использованием компьютера и резко увеличивает их собственные возможности, увлекаются им больше, чем следует. Человек перестает быть человеком и становится придатком машины, а ведь он должен развиваться гармонично.

Беспрестанное сидение за компьютером оглушает детей, они перестают читать, дышать свежим воздухом, заниматься спортом. Такая тяга к компьютеру есть и в моем внуке, которому мы не позволяем много сидеть

за ним — это увлечение перегружает мозг, портит глаза, в ребенке исчезает нечто детское, естественное для его возраста; если бы он занимался конькобежным спортом, то, уставая бегать на коньках, менял бы занятие, садился за книгу, за рисование, а непрерывное занятие одним и тем же опасно, ибо, как сказал Солон, «оно чрезмерно».

Среди нашей «элиты» появилась мода посылать своих отпрысков учиться за границу. В Кембридж и Оксфорд, в американские университеты, даже в Сорбонну едут дети и внуки очень богатых новых русских и лиц, руководящих страной. Если, условно говоря, внук Ельцина сейчас учится в Лондоне, умнее он от этого не станет. Просто обзаведется нужными связями для дальнейшей жизни в Англии и вряд ли вернется в Россию. Россия от этого ничего не потеряет, все равно уровень нашей системы образования лучше и выше, чем за границей, хотя и у нас наблюдается тенденция к разрушению того, что уже зарекомендовало себя как лучшее в мире. Не зря же мои студенты, поехавшие на стажировку в Америку и вернувшиеся оттуда через несколько месяцев, признались мне, что им было скучно, ибо их знания оказались гораздо основательнее и глубже, чем у американских студентов. Другое дело, что Запад любыми путями выманивает, в основном, конечно, деньгами, наших молодых специалистов, и многие уезжают, не найдя на родине возможности для плодотворной работы. В качестве розыгрыша мы даже хотели повесить у нас на физтехе шуточный плакат: «Поступайте к нам, мы готовим специалистов для Америки!» Еще одно свидетельство того, что уровень нашего образования, несмотря на все наши беды и безденежье, остается недостижимым для Запада.

Конечно, уезжая на Запад и работая там, наши талантливые молодые ученые получают средства, новейшую аппаратуру, то есть все условия для работы. . . Моя сотрудница, сын которой сейчас по контракту работает в Америке, рассказала, что лабораторию возглавляет наш специалист, из двенадцати человек, там работающих, шестеро русские, имеющие соответствующее образование, которое не идет ни в какое сравнение с американским! И вы думаете, там только одна такая лаборатория? Запад активно «вымывает» у нас талантливых молодых людей, в свое время названных мною «витаминным слоем» в науке, — 25–35-летних ученых, которые работают особенно продуктивно, генерируют идеи, непрерывно что-то изобретают, выдумывают, фонтанируют. Они очень высоко ценятся там и совсем не ценятся здесь, хотя образование, научный багаж получили у себя на родине.

Поэтому, говоря о высоком качестве нашего образования, я опираюсь не на эмоции, а на жесткие факты, для нас, к сожалению, весьма позорные: Россия создает и воспитывает кадры, а сама их не использует. Перспективы в этом отношении самые неблагоприятные, потому что пока еще преподают старики — молодежи-то нет, — и когда старики помрут, преподавать у нас будет просто некому. Придут случайные люди, которые поведут учеников неизвестно в каком направлении. Ведь сейчас не престижно быть профессором университета, даже академиком — я имею в виду действительных членов Российской Академии наук, как теперь ее называют, РАН, а не всяких «кошачьих академий». Я говорю «кошачьи академии», потому что у нас сейчас на каждом шагу встречаются подобные «академии», вот я и завел у себя дома такую — коты у меня академики, а я у них президент.

Если углубиться в историю, то когорта «бессмертных», то есть академиком, появилась во Франции во времена Ришелье, и входили в нее в то

время сорок человек. Наша Академия наук — бывшая Императорская, бывшая СССР — была создана по желанию Петра I, правда после его смерти. Надо сказать, в российской Академии во все времена, всегда старались выдерживать достойный уровень, чтобы там, по возможности, хотя бы не дураки собирались. Но дуракам-то тоже хочется стать академиками, поэтому пользуясь нашей нынешней неразберихой, они стали образовывать свои академии на уровне ПТУ, которые я и называю «кошачьими». Энергичные люди, понимающие, что они никогда не будут избраны в Академию из-за недостатка, скажем, серого вещества, изобрели академии естественных наук, академии неестественных наук, академии зоологии, социологии. . . Таким образом, они как бы все становятся академиками и подписывают документы и письма: «Академик такой-то. . . », что, мягко выражаясь, вызывает улыбку, поскольку Большая Академия их всерьез не принимает. Академиками могут называться только действительные члены настоящей Академии наук, а «кошачьи» могут именовать себя действительными членами такой-то академии. Им и самим неудобно всерьез называться академиками, но между собой они с удовольствием так друг друга величают, просто сотрясая воздух своим так называемым званием, и даже платят за то, чтобы быть «академиками»! Мы в Академии получаем зарплату, а они платят своим академиям только за то, чтобы прозвучать. Однажды мне радостно сообщили, что я избран членом какой-то «кошачьей академии» и потребовали сто рублей за билет и за вступление. Я, естественно, ничего не заплатил и документов никаких не получил, куда уж яснее, все понятно.

Конечно, можно над этим просто посмеяться, но такие комические ситуации подрывают престиж звания, профессии — ведь иностранцы, к примеру, принимают всерьез подобные титулы, и им в голову не придет, что это не академии, а потемкинские деревни. Сейчас не престижно быть ученым, но престижно зарабатывать большие деньги, разъезжать на «мерседесе», который профессор, работая всю жизнь, никогда купить не сможет. Поэтому молодежь не идет в науку, тем более не хочет заниматься преподавательской деятельностью, ведь учитель — профессия, как правило, семейная, традиционная, и если в провинции от нее деваться некуда, то в крупных городах — Петербурге, Москве — зачем она? Зачем учиться чему-то, зачем учить чему-то, когда и без этого можно прекрасно существовать? Невежество поощряется властями.

И вот самая, можно сказать, уважаемая, почитаемая в России профессия стала терять свою значимость. Наблюдается резкое падение интереса к преподавательской деятельности в школах, в институтах, в университетах. Десять–пятнадцать лет назад (я тогда заведовал кафедрой, сейчас по возрасту не веду, но остался в советниках при ректоре, то есть по-прежнему имею к этому непосредственное отношение) всегда стояла очередь выпускников института, чтобы остаться при кафедре, как говорили в старину, «для подготовки к профессорскому званию». Ко мне приходили выпускники, просили поддержки, объясняли, почему им необходимо остаться. . . Сейчас никто не хочет оставаться, потому что видят — денег тут не заработаешь, карьеры не сделаешь. И идут в коммерцию.

Получается, что кроме общественного и социального перелома, кроме перехода из одного тысячелетия в другое, то есть психологического перелома, у нас опять-таки падает качество народа — падает качество тех, кто учит, лечит, изобретает, чинит, двигает вперед науку, культуру, экономику;

невольно опускается профессиональная планка целой нации, хотя специально ее никто не опускает, она опускается сама собой. Разумеется, есть причина. Не зря французский философ XVIII века, энциклопедист Гольбах говорил: «Нет более опасного существа, чем делец, вышедший на добычу». А у нас наступило время дельцов, олигархов, которые фактически руководят страной и которых, конечно, нужно гнать — тех, кто держит свои — а на самом деле украденные у народа, страны — деньги в швейцарских банках. Им, озабоченным собственным преуспеянием, абсолютно безразлична судьба нации.

Да, можно сказать, что сейчас нет идеи, поскольку главной стала «идея» заработать. Я всегда говорю, что идеи проверяются очень просто, после чего становится совершенно ясно: где идея и где «идея», поэтому я и беру это слово в кавычки. Выдвигается, к примеру, лозунг: «Давайте все, как один, двинемся туда-то. . .» И, чтобы принять или не принять эту идею, надо просто себя спросить: «Можно ли за это отдать жизнь?» Если можно, то это — Идея. Если нельзя — не Идея. Наш лозунг «Построим рыночную экономику» — не лозунг, потому что вряд ли кто отдаст жизнь за построение рыночной экономики. А, скажем, за идею «Встанем за великую Россию!» в принципе, понимаете, в принципе можно отдать жизнь. Поэтому «творцы» нашей современной жизни — очень сомнительные вожди, захваченные «идеями» создать рыночную экономику — не понимают, что это не идея, а просто способ осуществления какой-то идеи, а какой — они и сами не знают. . .

Немногие остаются с Россией в ее самые тяжкие времена. Я имею в виду руководство, окружение, бывшие республики, но не имею в виду народ, народ остается с Россией всегда. С XX веком как бы уходит в прошлое мое поколение, уходит не физически, не биологически, дай нам Бог, как говорится, прожить еще сколько-то лет и посмотреть, что же будет: жизнь интересна, несмотря ни на что, нам показывают такое «кино», которое хочется досмотреть до конца, хотя киномеханик пьян и крутит ленту задом наперед. Тем интереснее понять, что же происходит на самом деле и чего ждать тем, кто будет действовать в будущем тысячелетии.

Для того, чтобы давать советы молодежи будущего тысячелетия, надо снова вернуться к своей молодости, вспомнить, что молодые существа сродни животным, которые только что родились, то, что видят с детства, привыкают считать нормальным. Они могут жить в ужасной стране и воспринимать ее ужасные порядки естественно, потому что ничего другого не видели и не способны правильно оценить свою жизнь. И когда люди со стороны, из других краев, говорят: «Как вы можете так жить, у вас нет свободы!» — молодые считают подобные утверждения чепухой, думая, что у них все есть. Надо учитывать, что человеческое существо, вырастая, приспособляется — и психологически, и физиологически, и как хотите — к плохой пище, к грязной воде, к зараженному воздуху, к постоянному попранию достоинства, подсознательно считая то, к чему они привыкли, нормой!

Я боюсь советовать им что-нибудь, ибо это всегда будут пожелания старика, который судит из времен своей молодости. Один умный английский писатель сказал: «Советы стариков молодым — это не только пустая трата времени, но и дерзость. Каждое поколение считает себя совершенно непохожим на предшествующее, но в конце концов оказывается почти в точности таким же». Да, природа устроила так, что человек только к концу своей жизни может понять и объяснить практически все, но, к сожалению, по-

что ничего уже не может сделать или сделать очень мало. Но существует и вечная истина, и тут я не скажу ничего нового: они не поверят! Молодежь не верит старикам и делает правильно, потому что только так может развиваться общество. Если бы молодежь верила старикам и следовала их советам, мы бы сейчас жили в средневековье. Не нужно верить старикам и обращать внимание на их советы, это нормально. Таково мое глубокое убеждение. И если меня считают выжившим из ума старым брюзгой, если мне не верят, то пусть не верят, пусть так считают. Сам я считаю себя умным для своего времени, то есть для двадцатых–тридцатых годов уходящего века, времени моей молодости. Мой разум сформировался тогда, и с тех позиций я смотрю на окружающий мир. А сегодняшние молодые люди смотрят на нашу жизнь с позиций девяностых годов, поэтому видят все по-другому, и Бог с ними.

Мне могут возразить, что я не прав, что я вполне современен, может быть, это и так, учитывая мой интеллект и профессию. Но у нынешней молодежи совершенно другие представления обо всем, ей свойственно и стремление к независимости — оно всегда было свойственно молодости, — и к меркантильности — а это уже новое веяние, то, чего не было на заре нашей жизни. Ну что ж, меняются времена, меняются нравы. Каждое молодое поколение по-своему право и не желает прислушиваться к советам предыдущего поколения, которое, с их точки зрения, обо всем судит неправильно. Предыдущее поколение тоже по-своему право, внутренне не принимая установок нынешних молодых людей, потому что в его звездные времена эти установки не считались доброкачественными. Правы и те, и другие, но молодые ближе к реальности.

Если пять–семь лет назад выпускники высших учебных заведений, как я уже говорил, отказавшись от своей профессии, ушли в коммерцию, то сейчас в институтах снова образовался конкурс. Молодые стали понимать, что только одна торговля не удовлетворит полностью их жизненные запросы, поэтому надо получить образование. Но для осознания этого нужно пройти свою школу ошибок. Они не поверят, если я им скажу: «Не делайте так, потому что я уже на этом обжегся», — и уверенно ответят: «Ты обжегся, а мы не обожжемся». Каждый проходит свою школу ошибок, хотя лично у меня впечатление, что я ошибок не делал и всегда поступал правильно. Конечно, это неправда, конечно, я совершал глупости, как и все, но у меня нет ощущения, что если бы я поступил так, а не иначе, то было бы лучше. Я уже неоднократно упоминал о том, что меня ведет по жизни какая-то Высшая сила, благожелательно ко мне настроенная, и в моей судьбе не было ни одного события, менявшего жизнь к худшему. Даже самые неприятные вещи, которые со мной приключались, вели к удаче. Например, в свое время меня исключали из института, потому что я не был годен к летной службе, это была настоящая трагедия. Сейчас-то я понимаю, что все это мелочи, но тогда, в Ленинграде, страшно переживал — жизнь, казалось, кончена... Но поскольку я учился отлично, то начальство решило, что для статистики меня отчислять невыгодно, так как сразу понизится средний балл успеваемости. Персонально я был им совершенно неинтересен, а вот в качестве среднестатистического показателя необходим. И, несмотря на отчисление, меня оставили: начальник института (тогда были начальники, а не ректоры) посоветовал мне не обращать внимания на это и ходить на занятия. И я ходил, прекрасно учился дальше, и все забыли, что хотели меня отчислить.

То, из-за чего меня забраковала комиссия, из-за чего я невыносимо страдал, изменило мою жизнь к лучшему: когда я решил переходить с факультета аэрофотосъемки, который мне очень не нравился, на факультет самолетостроения и у меня ничего не получалось, помогло мне именно то, что я был забракован комиссией как не годный к летной службе. Очень высокий начальник затребовал мое личное дело и, узнав, что я негоден к летной службе, приказал гнать меня с этого факультета. В результате я перешел на тот факультет, который положил начало моей настоящей профессии на всю жизнь.

Я не придаю этому эпизоду никакого значения, и вспомнился он потому, что «все к лучшему в этом лучшем из миров!». Это великое высказывание Вольтера проверялось на мне тысячи раз. На протяжении всей моей жизни, которая началась почти с началом XX века, со мной часто происходили странные вещи — как только грянет крупная неприятность, потом выясняется, что это был единственный путь к спасению. Я всегда об этом помню и к неприятным событиям отношусь вполне философски, думая, что скоро, вот сейчас, откроется какая-то приятная перспектива, и жизнь подарит мне прекрасный сюрприз.

Мой XX век мне ничем не досадил. Мне вообще трудно досадить, я всегда всем доволен искренне. Даже когда сидел в лагере, не притворялся, что стоически переношу жизненные испытания, а на самом деле страдал: Я всегда принимал и принимаю жизнь как праздник, не стремлюсь что-то в ней сломать или кардинально переделать, принимаю ее такой, какая она у меня получается. И она получается всегда хорошей. У меня такое ощущение.

Нет плохого и нет хорошего времени, есть время, в котором мы живем, и в этом отведенном нам времени надо жить «на полную катушку». Только полнота жизни заключается не в набивании карманов и желудка, а в том, чтобы жить достойно.

Не дай Бог, если кто-то все-таки расценит мои слова как «послание к потомкам». Никаких посланий писать не собираюсь, а то потомки лет через пятьдесят прочтут и скажут: «Ну и нагородил!» Но они все-таки должны помнить, что мощь человека растет с каждым годом, в особенности в последнее столетие, и если раньше кто-то мог «насолить» только своей семье, деревне, городу, наконец стране, то сейчас один человек может, в принципе, уничтожить весь мир. Я не говорю, что такой человек сегодня есть. Важно, чтобы он не появился. Ведь с каменного века в человеческом мозгу ничего не изменилось, и теперь получается страшный раздрай: людям с интеллектом каменного века дают в руки невероятную энергию. Наверняка один из них что-нибудь учинит, просто в силу своей дурости.

Поэтому я далеко не уверен, что человечество вообще сохранится еще сто лет. Оно упрямо идет к той грани, где возможность самоуничтожения становится реальной и вероятна даже по ошибке. И я не очень верю в то, что человечество еще может спохватиться и отыграть назад. Потому что человечество — это множество людей, а у множества людей есть «выбросы» и вверх, и вниз. Люди все глубже и глубже изучают природу разрушения, ставят все больше физических опытов, и я сейчас скажу глупость, с точки зрения современной физики, но я скажу ее, чтобы было понятно: представьте себе, что физики в процессе экспериментов сделали шаг, после которого стала гореть вся материя. И сгорела Земля, сгорели люди — сгорело

все! Дорасщеплялись... У меня даже возникла некая гипотеза-гротеск по этому поводу: мы наблюдаем сейчас, как во Вселенной вспыхивают новые звезды — это как раз те цивилизации, которые дошли до похожего на наш уровня развития. Там тоже появились «умники», желающие все испробовать — ведь процесс познания неостановим, «умники» ковыряли, ковыряют и будут ковырять. «Мы сделали это, давайте теперь сделаем это» — «А если попробовать так?» — «Не делай, может случиться черт-те что!» — «Да ничего страшного не будет, я же знаю...» — тык, бум — и все! Кончилась планета...

А где-то в нашей Галактике мечтательно скажут: «Вон вспыхнула новая звезда»...